



Н. СЛАДКОВ

В ЛЕСАХ СЧАСТЛИВОЙ ОХОТЫ

Annotation

ОТ АВТОРА:

Книга эта — про наших земляков. Про птиц и зверей. Они вместе с нами живут на Земле, и земляков своих надо знать. Ведь во всем огромном космическом мире нет больше таких птиц, таких зверей и таких растений.

Другие, может и есть, а таких нет. Потому-то, наверное, встречи с ними всегда приносят радость и новые впечатления. Если ты художник, то увидишь новые сочетания красок, если музыкант — услышишь новые звуки. Скульптора поразит совершенство и красота формы. Ученый задумается над новой загадкой... А просто любящий природу человек подивится огромному разнообразию жизни.

- [В ЛЕСАХ СЧАСТЛИВОЙ ОХОТЫ](#)

- [ОТ АВТОРА](#)

- [БЕЗЫМЯННОЙ ТРОПОЙ](#)

-
- [Ночь на Кара-Даге](#)
- [Конь-великан](#)
- [Красное пятно](#)
- [Тетёрка](#)
- [В норе](#)
- [Под снегом](#)
- [В ущелье Боз-Дага](#)
- [В колее](#)
- [Грабители](#)
- [Медвежий характер](#)
- [Серебряный хвост](#)
- [Медвежья горка](#)
- [Лесные сигналы](#)
- [У лисьей норы](#)
- [Лешева дудка](#)
- [Зимнее лето](#)
- [Кара-Баш](#)
- [Медвежья услуга](#)
- [Сторожа](#)
- [Первый медведь](#)

- [Два пёрышка](#)
- [Желтоносый дуралей](#)
- [Бегство цветов](#)
- [Сторожевые колокольчики](#)
- [Лесные тайнички](#)
- [Лесное время](#)
- [Неслух](#)
- [Весёлый городок](#)
- [Бегут кусты перекасти-поля](#)
- [Джейранчик](#)
- [Крик](#)
- [В кяризе](#)
- [Сам карусель](#)
- [Тень](#)
- [Ключик](#)
- [Синяя птица](#)
- [Золотой дождь](#)
- [На неведомой дорожке](#)
- [Плясунья](#)
- [На великом пути](#)
- [Баклан](#)
- [Серая цапля](#)
- [КРАЕШКОМ ГЛАЗА](#)
 -
 - [Капли солнца](#)
 - [Волшебная полочка](#)
 - [Белые фигурки](#)
 - [В лесу](#)
 - [Пороша](#)
 - [Песенки подо льдом](#)
 - [Кусок хлеба](#)
 - [Своя песня](#)
 - [Вежливая галка](#)
 - [Земля!](#)
 - [Заячий хоровод](#)
 - [Весенняя баня](#)
 - [За окном](#)
 - [Первые](#)
 - [Шепелявая птица](#)

- [Крылатые песни](#)
- [Тетеревиные ноты](#)
- [Оттаявшие происшествия](#)
- [Тёплая струйка](#)
- [Овсянкины советы](#)
- [Ранняя птичка](#)
- [Лесные оборотни](#)
- [Весенние ручьи](#)
- [Танец весны](#)
- [Растревявшиеся перелески](#)
- [Нечеловеческие шаги](#)
- [Любитель цветов](#)
- [Певица](#)
- [Горячая пора](#)
- [Пылесос](#)
- [Гнездо](#)
- [Сиплая кукушка](#)
- [Ласточкина дорожка](#)
- [Чижик](#)
- [Цена песенки](#)
- [Фазаний букет](#)
- [Болотное стадо](#)
- [Дятел](#)
- [Птенцы-хитрецы](#)
 - [Говорящие яйца](#)
 - [Яйцо на ножках](#)
 - [Под шапкой-невидимкой!](#)
 - [Водолаз-подводник](#)
 - [Послушный малыш](#)
 - [Чур-чур!](#)
- [Трясогузкины письма](#)
- [Новый голосок](#)
- [Приёмьши](#)
- [Поганчики](#)
- [Весёлая игра](#)
- [Пищухин вальс](#)
- [Серьёзная птица](#)
- [Три яичка](#)

-
- [Яичко в песке](#)
- [Яичко в листьях](#)
- [Яичко на земле](#)
- [Скворец-знахарь](#)
- [Почему зяблик — зяблик?](#)
- [Соловьиный язычок](#)
- [Певчая дорожка](#)
- [Деревья скрипят](#)
- [Ночные охотники](#)
- [Чеканчик](#)
- [Загадочный зверь](#)
- [Паучок](#)
- [Птичьи посты](#)
- [Время](#)
- [Тук-тук!](#)
- [Отчаянный заяц](#)
- [Мурлыка](#)
- [Синичий запас](#)
- [Какой заяц длинны?](#)
- [В ПОДВОДНОМ ЛЕСУ](#)
 -
 - [В подводном лесу](#)
 - [Окно на дно](#)
 - [Под водой](#)
 - [Подводные ежи](#)
 - [Пятое имя](#)
 - [Рыбята](#)
 - [Колючий рыцарь](#)
 - [Озорники](#)
 - [Домики на ножках](#)
 - [Воздушный замок](#)
 - [Голубой рак](#)
 - [Санитар](#)
 - [Рыбьи пляски](#)
 - [На лунной дорожке](#)
 - [Пустота](#)
 - [Голубые столбы](#)
 - [Подводный закат](#)

- [Осень под водой](#)
 - [Шёпот рыб](#)
 - [Рыболов и поплавок](#)
 - [Кружит](#)
- [Послесловие](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке BooksCafe.Net](#)

[Все книги автора](#)

[Эта же книга в других форматах](#)

Приятного чтения!

Н. СЛАДКОВ



РИСУНКИ К. ОВЧИННИКОВА

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА“
ЛЕНИНГРАД
1969

В ЛЕСАХ СЧАСТЛИВОЙ ОХОТЫ

ОТ АВТОРА

Книжка эта — про наших земляков. Про птиц и зверей. Они вместе с нами живут на Земле. А земляков своих и соседей надо знать. Ведь во всём огромном космическом мире нет больше таких птиц, таких зверей и таких растений. Другие, может, и есть, а таких нет. Потому-то, наверное, встречи с ними всегда приносят радость и новые впечатления. Если ты художник, то увидишь новые сочетания красок. Если музыкант, — услышишь новые звуки. Скульптора поразит совершенство и красота формы. Учёный задумается над новой загадкой. А просто любящий природу подивится огромному разнообразию жизни.

Но особенно радостны и интересны должны быть такие встречи для вас, ребята. Сколько открытий они вам несут!

Например, вы узнаете, что не все смотрят на мир только двумя глазами — у паука их восемь! Не все дышат ртом — крохотный водяной циклопик дышит... ногами. Не все слушают ухом — черепаха может слышать и животом.

И с каждой такой встречей горизонт будет раздвигаться всё шире, будто вы поднимаетесь на высокую гору.

Но чтобы такие встречи были, с лесом надо дружить. Лес открывается только своим друзьям. Чужаков он встречает недружелюбно и старается насолить им. А уж на это он мастер!

Если вы в крепких сапогах и плотной куртке, так он не станет напрасно стегать ветвями по бокам и ногам, а будет метить в глаз, хлестнёт по замёрзшему уху.

Ну, а если дело летом и вы босиком, он ловко подбросит под голую пятку колючую шишку или воткнёт между пальцев сучок.

Уж какой-нибудь недогляд да найдёт! Дырочка в сапоге — нальёт ледяной воды. Ворот распахнут — горсть колючей хвои за шиворот. Руками размахался — сейчас же по рукам жгучей крапивой!

Всё видят его зелёные глаза, до всего дотянутся цепкие зелёные руки. И до тех пор будет шпынять, пока не узнаете его характер. А характер у него, в общем, ничего. И узнать его просто. Надо только постараться увидеть, как улыбаются солнцу деревья, услышать, как кусты и травы просят пить, и понять, о чём говорят птицы и звери, — только-то и всего!

Нет, лес для человека не только дрова, луга не только сено, а живые существа — не только пух да перо.

Кроме пера и пуха, есть у них ещё и жизнь, полная удивительных тайн...

Охота за этими тайнами — радостная охота.

Это и есть счастливая охота.

Счастливая охота в родных лесах.

БЕЗЫМЯННОЙ ТРОПОЙ

Тропинки в горах разбегаются лучиками. И у каждой тропинки свой смысл. Вот одна протянулась к роднику — это «водяная» тропинка. Другая — в лес, к валежнику — это «дровяная». Вьётся, вьётся, спешит вниз, в долину, «домашняя» тропинка — дорога к дому.

Но есть в горах и другие тропинки. Кто их проложил — человек или зверь, — неизвестно. Их и заметить-то не просто. Только если пригнёшься, увидишь на осыпи, под серыми скалами, тёмную ниточку. Это и есть та самая тропинка. Шириной она в два козлиных копытца. Никто не знает, куда она ведёт. Потому и называют эти тропинки «безымянными».

Пойдёшь по «водяной» тропе — найдёшь воду. По «дровяной» — дрова.

Я выбрал себе безымянные тропы — и вот что на них увидел.



Ночь на Кара-Даге

Я охотник и не новичок в горах. Но такого мрачного нагромождения скал мне ещё не приходилось встречать. Крикнешь, — из провалов и пропастей гаркнет в ответ стоголосое эхо. Идёшь, — в спину тебе будто упорно смотрит кто-то; обернёшься — никого нет.

Скалы мертвы. И пусты. А ведь путь охотника красят встречи. Трудно идти, когда ничего не ждёшь впереди.

Ломает высота. Даже на привале сердце стучит быстро-быстро. И дышишь, как загнанная лошадь.

Вечер застал меня высоко в этих диких скалах.

Собираю пучки колючей травы и растапливаю на них в котелке снег. Трава сырая. Дым от неё густой, зелёный и едкий. Вода становится горькой, как хина. Сухарь холодный, крепкий — не угрызть!

Пора в спальный мешок.

Блаженны минуты, когда после выматывающих силы подъёмов залезешь, наконец, в мягкий и тёплый спальный мешок и растянешься в нём на покое! Но тут кругом так мрачно и дико, что и отдых не радует.

Глубоко внизу застыло холодное облачное море. Горный хребет в нём как изрезанный морской берег.

Тишина. Напряжённое ухо ловит отдалённый, еле слышный рёв. Это шумят водопады глубоко внизу, под облаками.

Из-за чёрной скалы, похожей на запрокинутую морду зверя, вылезает узкий зелёный клык месяца.

Холодина! С головой залезаю в мешок. Но и в мешке не согреться. Пахнет мокрой овчиной. В бока впиваются острые камни. Дышать в мешке ещё труднее.

Не радуют и мысли о завтрашнем дне: опять голые скалы, снег, тяжёлые подъёмы...

Заснул под утро.

... Разбудили меня какие-то непонятные звуки, ворчание, сухой скрип, будто что-то жёсткое тёрлось о камень.

Осторожно высовываюсь из мешка и подтягиваю к себе карабин.

Горы чёрные, без глубины, как вырезанные из бумаги. Белое облачное море внизу, тронутое зарёй, розовеет.

Глаз не оторвать: пенистое розовое море с чёрными островами гор! Это так необычайно, что забываю и про холод, и про непонятные звуки.

Но вот опять скрип, ворчание, шлёпание. Приподнимаюсь на локте и вижу: над пропастью на каменной плите сутуловатые силуэты чудовищ. Чёрные на розовом. Их двенадцать. Они похожи на горбатых старух. Головы у них втянуты в плечи. Большие крючковатые носы торчат прямо из груди.



Вот зашевелились. Переступают с лапы на лапу. Вытянули змеинные шеи к земле. Шеи-змеи раскачиваются. Слышно сердитое ворчание.

И вдруг все разом подняли головы.

Раздался костяной звук: чудовища столкнулись тяжёлыми костяными носами!

Столкнулись и разошлись; грузно, вперевалку заковыляли по плите, волоча по земле свои громадные приспущенные крылья. И тут послышался тот сухой скрип, что меня разбудил, — это их жёсткие перья тёрлись о камень.

Я узнал этих чудовищ. То были сипы — огромные птицы горных высот, птицы-мертвоеды. Белоголовые грифы, ростом много больше самого крупного из орлов — беркута. В размахе крыльев сипа чуть не три метра.

Вот одна из этих чудовищных птиц остановилась, закинула голову на спину. Из разинутого клювища вылетело облачко пара. Громкий хриплый клёкот понёсся в скалы. Каждая трещина, каждый провал повторили крик.

После первого заклекотал второй сип, потом третий. Скалы кричали голосами сипов.

Вот сипы перестали кричать и, скрипя крыльями, заковыляли обратно к краю пропасти. Сошлись, закачались, опустив шеи и переваливаясь с лапы на лапу. И опять внезапно, как по команде, подняли и сдвинули

головы — стукнулись чугунными клювищами!

Показалось из-за горы солнце. Со скал живо сбежала чёрная тень. Побелел синий снег. Розовое море стало жёлтыми облаками. Облака раздвинулись — и рёв подоблачных водопадов стал яснее и громче.

Чудовищные птицы не кажутся уже чёрными. Жёлто-бурые, с длинными белыми шеями, они все повернулись в одну сторону и молча смотрят, как из-за чёрной скалы, похожей на запрокинутую морду зверя, медленно поднимается солнце.

Когда солнце поднялось над скалой, среди сипов опять началось движение. Один за другим они неуклюже поскакали к самому краю каменной плиты, помогая себе полураспущенными крыльями. С ходу прыгали вниз, в бездну. Сейчас же поднимались из неё, распластав огромные крылья навстречу утреннему ветру. Ветер посвистывал в их широко расставленных маховых перьях.

Один за другим сипы большими кругами поднимались над горным хребтом и исчезали в безоблачном небе.

Улетели сипы. Стал собираться и я. Весело собирался.

Усталости как не бывало. И вода стала вроде не такая уж горькая. И сухарь вкусен. И трудный путь не страшит.

Бывают, значит, и тут встречи. Да ещё и какие!

Сколько я потом ни искал в книгах, — не нашёл, чтобы кто-нибудь видел такое странное скопище сипов. Так и не знаю, что это была у них за игра.

Жизнь этих нелюдимых птиц мало ещё изучена. Когда-нибудь учёные объяснят нам все их повадки. Это — дело науки. А я — простой охотник.

Я горд тем, что мне — первому, быть может, из людей — удалось увидеть необычайные игрища этих крылатых чудовищ среди мёртвых скал, на такой высоте, где не живут люди.

Разве не стоило для этого потрудиться?

Конь-великан

Вчера на зелёные горы упал белый град.

Стало как зимой. Да не совсем. И бело, и холодно, а знаешь, что это не серьёзно. Из-под белого везде проглядывает зелёное. И пробиваются, пробиваются летние запахи разных трав.

К утру травы победили. Мутные струи талого града побежали по скатам гор.

Одна струя помчалась по узенькой тропинке, смывая с неё старые следы людей и зверей.

Смыла следы — и стала покрывать тропинку мутной земляной жижей.

Но пришёл конец и потокам. Из-за притихших гор поднялось солнце.

Всё вокруг обновилось: зелень стала свежей и тропинки — нехожеными.

Днём началась жара. Камни от жары стали лиловые и золотые.

Отяжелели, поникли к земле колоски. Смотрю на них против солнца и вижу: взлетит из трав птица — и под крыльями у неё взметнётся золотое облачко цветочной пыльцы. Летит птица над травами — и каждый удар крыльев рождает золотистый пылевой смерчик.

Тропинка затянулась корочкой. Потом корочка растрескалась от жары, на ней переплелись лиловые трещинки до самого камня.

Мой конь шагает по звонкой тропинке — и каждый шаг его копыт выбивает в корочке лунку. Шаг — лунка, шаг — лунка. Четыре копыта — четыре лунки. Вся тропинка позади нас в лунках.



Вечером я возвращаюсь по этой тропинке с горы.

Из каждой лунки взлетает птичка: в каждой лунке — птичья пылевая

купалка. Птицы купаются, набрасывая на себя крылышками пыль.

Все птицы горного склона собрались порхаться в лунках. Вся тропинка для них стала пляжем.

Мой конь, наверно, казался птицам сказочным конём-великаном, от каждого шага которого рождается озерко.

Красное пятно

Горные леса, а с ними и лето, остались глубоко внизу, под облаками. Вокруг нас — зимние альпийские луга.

Но зима на лугах не простая, а летняя. Как настоящей зимой, вокруг нетронутые снежные поля. Как зимой, нет ярких красок: белый снег, серые камни. Но мы, как летом, идём в одних трусах, — жарко! На голые плечи наброшены рубахи — от ожогов солнца. На головах — широкополые шляпы. Но от солнца спасения нет. Оно, как в зеркале, отражается в снегу и жжёт снизу. У нас потемнели и отекли веки, обожжены ноздри и низ подбородка.

Глаза болят и слезятся. Пора и вниз, — вокруг безжизненно и пусто.

Но вдруг среди серых глыб на снегу я увидел яркое красное пятно. Щурю воспалённые глаза — нет, не разглядеть, далеко. А разглядеть надо: красное пятно так и блестит на солнце и вроде шевелится. Утерпишь тут!

Что это? Подснежные цветы? Пятно крови? Или просто красный лоскут, оброненный охотником-горцем?

Придётся давать крюк. Лезу через камни, проваливаюсь в рыхлом снегу. В горле хрипит, в висках стучит. Глаза разъедает пот.

И чем ближе к пятну, тем непонятнее. Вокруг пятна какие-то полоски красные. Или так кажется?

А тут за камнями и вовсе пятна стало не видно.

«Вот мучаюсь, а там, наверное, просто лоскут», — сержусь я на себя.

А там не лоскут...

Вылез я на последнюю глыбу перед ледником и увидел на снегу... клубок красных змей! Некоторые змеи отползли от клубка в сторону и лежали на снегу, как красные ленточки.

Я протёр залитые потом глаза. Точно — змеи! Я пощупал рукой снег. Настоящий.



Змеи на снегу! Красные змеи!

Я поджал голые ноги. Потом осмелел и стал бросать в змей камешками. Сердито шипя, они подняли плоские головки и стали расползаться, быстро скользя по снегу и скрываясь в кустарнике на проталинах. Одна красная змейка проползла совсем близко. На её спине я разглядел зубчатую полосу.

Гадюка!

Уползли красные гадюки. Остались на снегу извилистые полосы — змеиные следы. Я и раньше встречал на снегу такие полосы, но никак не мог разгадать, что они значат. А теперь понял.

Змеи на зиму сползаются к какой-нибудь земляной норе и зимуют, свившись клубком. Весной, когда сойдёт снег, они выползают погреться на солнце. А горное солнце злое, и на снегу жарко. Вот они и выползли раньше срока. А что красные — так это не от загара. После уж я узнал: есть такая порода гадюк на Кавказе — красная гадюка Кознакова.

А вот я загорел. Да так, что вся кожа облезла. Да ещё и ослеп на два дня. Дорого обошлись мне красные гадюки. Одним утешался: такое не всякий видел.

А уж вид-то какой! Ослепительный!

Тетёрка

Кавказская тетёрка всем схожа с нашей, обыкновенной. Может, поменьше только.

И повадка у неё простая: увидит охотника, — улетит; услышит, — убежит или затаится.

Но однажды встретил я тетёрку, которая не улетела от меня, не убежала и не затаилась.

Сидел я на склоне у ручья. Плещет, скачет с камня на камень вода и у кустов рододендрона обрывается водопадиком.

Из этих кустов и вышла тетёрка. А за ней шесть — в полматки — цыплят.



Хотел я притаиться, да неловко шевельнулся: из-под ноги поскакали камешки.

Семь головок, как семь цветочных бутонов, поднялись из травы. И замерли.

Шесть несмышлёнышей ждут сигнала матери.

Вот тетёрка взмахнула крыльями.

«Сейчас улетит», — подумал я. Но она не улетела. Только кинулась в сторону. «Сейчас убежит!» Но она наткнулась на камень — и не убежала.

Шесть глупых цыплят ждали.

Тогда я нарочно зашуршал ногой.

Тетёрка — грозная, взъерошенная — бросилась прямо на меня.

Я шуршал ногой, а тетёрка бежала ко мне, спотыкаясь и падая.

Она кинулась мне прямо в руки и, схваченная, закричала, забилась, теряя перья.

Это послужило сигналом. Шесть цыплят разом взлетели — и спланировали под кручу.

Я был поражён безрассудной самоотверженностью птицы. Зачем кидаться в руки врага, когда можно убежать, улететь, спрятаться?

Но, прижав ладонями тугие, сильные крылья, я вдруг заметил: тетёрка была слепа. Вместо живых птичьих глаз были две пустые впадины с запёкшейся кровью.

Всё было ясно.

Пёстрый желтоглазый ястреб налетел, скогтил, поволок. Проколот глаза, да не сумел удержать и убить, — вырвалась.

Тетёрка и слепая водила выводок. На ощупь клевала траву и почки. Шесть несмышлёнышей по-прежнему ждали от неё сигналов. Но теперь она не могла взлететь и увлечь за собой выводок. Не могла убежать и спрятаться с выводком в чаще. Куда бежать, куда лететь, когда кругом ночь?

... А враги крадутся. Слышны шорохи в кустах, в траве. Скачут из-под чьих-то ног камешки.

И тетёрка, защищая детей, бросилась прямо на шум. Это всё, что она могла теперь сделать.

Слабый враг испугался бы и убежал. Сейчас враг оказался сильный. И она забилась, закричала. Тетеревята были спасены.

Я держал в руках слепую тетёрку и не знал, что с ней делать?

Под ладонью быстро-быстро билось птичье сердце, такое маленькое, но такое смелое!

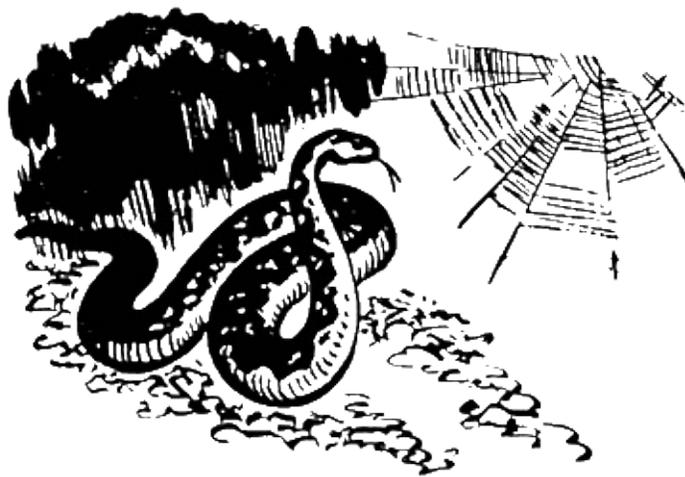
В норе

У моих ног узкая нора под скалу. Часто в горах узкая нора бывает началом большой пещеры. Я зажёл фонарик, зажал его в зубах и втиснулся в нору. Камни сдавили плечи. Я нажал, голова моя просунулась в расширение, но плечи застряли ещё крепче. И тут я услышал тихое шипение.

Я сразу понял, кто шипит, дёрнулся назад и застрял окончательно.

— Чёрт возьми! — Я стал дёргаться изо всех сил. Теперь шипение перешло почти в свист. Я сразу притих и сник.

Нора впереди никуда не вела и кончалась тупиком. В тупике была змея; свет фонаря освещал её. Заслыша шорох, змея вытянулась к противоположной стенке, зашарила головой по камням и, не найдя дыры, повернулась ко мне. Плоская её головка покачивалась в воздухе, белый язычок так и порхал у чешуйчатых губ.



Змея смотрела на фонарь и стягивала кольца своего чёрного тела в тугий узел. Так змеи всегда делают перед броском.

О, я знал, что такое бросок змеи! Он почти неуловим для глаза: кажется, что змеиня головка просто вздрогнет. А она успеет метнуться вперед, успеет укунить и отпрянуть в прежнее положение.

Змея напряглась, подняла, как лебедь, тонкую шею; кончик хвоста её торчал из чёрного узла и сердито вздрагивал.

Самое страшное сейчас — испугаться.

Стоит пошевелиться, и плоская головка дрогнет. Почувствуешь укол иглы в лицо. Лёгкий укол иглы, от которого по лицу сразу разольётся

жгучий огонь. Посинеет кожа, заплывут глаза, начнётся тошнота и полузабытьё.

Как чётко работает голова!

Замереть, не моргать, не сопеть носом, в который набилась пыль. Зажать фонарь зубами так, чтобы свет его не дрожал на камнях и не дразнил эту висящую в воздухе головку с порхающим белым язычком.

Тело моё сжалось: оно рвалось назад, скорей назад, прочь из тесной норы! Но нора стиснула плечи и руки прижала к бокам. Шевелить можно было только пальцами где-то у бёдер.

Может, крикнуть и напугать? Нет, нет, нет — только не пугать! Змея всегда кусает то, что её пугает; даже если это палка или нога в толстом сапоге.

Спасение одно: не пугать и не пугаться. Не шевелиться, не моргать и дышать медленно и неслышно. Лучше всего закрыть глаза: живой блеск глаз раздражает, может дрогнуть веко, и змея укусит прямо в зрачок.

Я тихо опустил веки и замер. Это была первая победа, пока что победа только над самим собой.

Тело подчинилось и лежало пластом, зато мысль исступлённо билась в каменной норе, ища выхода.

Если змея успокоится и опустит голову на свои чёрные кольца, можно будет тихонько, чуть заметно вытягиваться назад. Батарейка в фонаре новая, хватит её надолго — за змеей можно следить.

И вдруг я почувствовал на лице ласковое поглаживание: будто трепетная травинка, толкаемая ветерком, прикасалась к коже. Змея ощупывала лицо языком!

Будто липкая паутинка протянулась по щеке наискосок, на фонарь что-то надавило, и чуть слышный звон осыпающихся песчинок послышался у самого уха.

Я перестал дышать. Если бы хоть одна рука была свободной! Я сумел бы схватить змею за тонкую шею сразу позади затылка, и пусть бы она тогда в ярости хлестала хвостом по лицу: хвост не голова!

Я чуть приоткрыл глаза. Змея лежала рядом. Она свернулась у самого фонаря — грелась. Голова лежала на теле: мне виден был только затылок с вздувшимися ядовитыми буграми.

Стоит попробовать...

Чуть заметно я стал разжимать зубы; стекло фонаря упёрлось в песок у самого змеинобока.

Змея не шевельнулась.

Я отпустил фонарь, и он медленно съехал по подбородку вниз. Я

упёрся подбородком в песок и на сантиметр отсунулся назад.

Змеиная головка быстро поднялась, и язычок, как белый мотылёк, запорхал у гранёных губ. Я не успел закрыть глаза и теперь смотрел на змею не моргая. Но глаза мои были уже в тени и не раздражали её.

Головка медленно опустилась вниз. Я отсунулся ещё на сантиметр.

Меня спас фонарь. Змея пригрелась около него, и ей лень стало оглядываться на чуть слышный шорох позади.

А я скрёб пальцами землю, ломал ногти, упирался в уступы, извивался, как червяк. И всё дальше и дальше отползал от своего фонаря.

Одежда завернулась на голову, песок сыпался на голую спину, но я ничего уже не видел и не слышал; я рванулся назад и выскочил из трубы.

Ну вот и всё.

Теперь это далёкое воспоминание. Оно почти забылось. Ясно запомнилось только, что шипение рассерженной змеи очень похоже на свист. И помнится прикосновение змеиного язычка — будто липкая паутинка тянется по лицу.

Под снегом

Хорошо весной в горах. На зелёных склонах цветут цветы. Птицы поют. Каждый цветок раскрывается навстречу солнцу. Каждая птица поёт, подняв к солнцу раскрытый клювик!

Но вдруг из-за серых скал выползли синие тучи. Снизу тучи закрыли землю, а сверху — небо. И сразу закрылись цветы. Умолкли птицы. Стало не по себе.

Вокруг темно и страшно. И в наступившей тишине слышно, как надвигается что-то огромное с шипением, свистом и воем. И вот накатило: смешалось всё, заревело, заухало!

Буран!

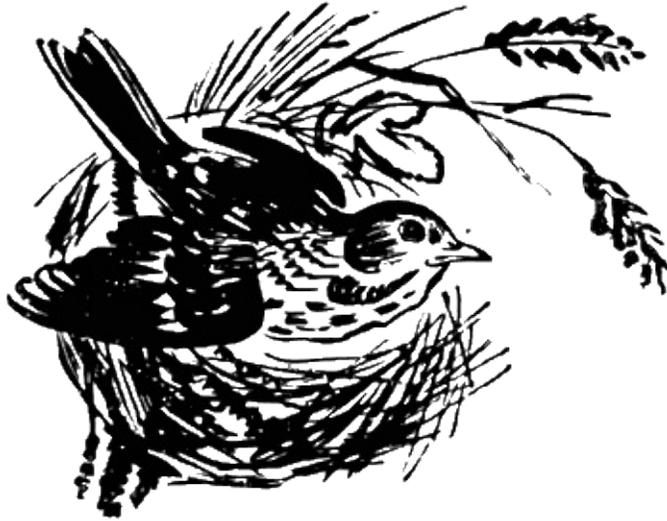
Забился я под скалу. Внизу сверкает молния и грохочет гром, а сверху из туч сыплет град и снег.

Пролетел буран — кругом белым-бело! И тихо, как зимой. Но только зима эта особая. Из-под града и снега поднимаются яркие цветы. Пучки зелёной травы распрямляются и сбрасывают снежинки. Распрямился пучок травы и у скалы, под которой я сидел. А рядом с травой из-под снега птичья головка торчит! Носиком крутит, глазами моргает.

Горного конька засыпало! Хотел я схватить птичку, скорей спасти её, но вдруг всё понял, тихонько отошёл и сел на камень.

Скоро рассеялись тучи внизу, и снова стали видны леса и глубокие долины. Растаяли тучи и сверху. Опять запылало солнце. Снег и град стали быстро таять. Зажурчало вокруг, зашумело, засверкало. Мутные потоки хлынули вниз. Тогда конёк поднялся, стряхнул с крылышек снежинки и градины, поправил клювом мокрые перья и шмыгнул в траву.

Так и есть! У пучка травы в лунке коньково гнездо, в гнезде пять полуголых конёчков. Прижались друг к дружке и закрыли глаза. Но живые, дышат — пушок на спинках шевелится. Вот почему не спрятался конёк от бури. Вот почему засыпало его снегом!



Опять запели птицы. Навстречу солнцу цветы раскрыли свои вазочки. В каждой вазочке — жуки, комары, мухи. Они в закрытых цветах от бури прятались.

Угощайся, конек, из драгоценных ваз.
Заслужил!

В ущелье Боз-Дага

Охотника-натуралиста, влекут к себе узкие каменистые ущелья боз-дагов — выжженных солнцем хребтов. В них вечно что-то сыплется, шуршит, откуда-то падают камешки. Может, так, само по себе. Может, ящерицы. Может, заяц пробежал или выводок кекликов взлетел — красивых горных куропаток. А может, и горный козёл скакнул — желанная добыча охотнику.

На рассвете ущелья — как синие трещины на красном хребте. К полудню трещины наливаются белой мглой, а камни в них становятся от жары золотыми. Под навалом золотых камней — чёрные тени. Душно в этих раскалённых ущельях. Нечем дышать. Медленно подвигаешься вперёд. Ущелье то и дело круто виляет. Подходя к повороту, взводишь курки: ещё шаг — и может быть неожиданная встреча.

...Стремительно удирают лупоглазые маленькие ящерицы-гекончики. Толстые, серые, как щебень, агамы — большие шершавые ящерицы с треугольными головами и обрюзглыми щеками — с трудом лезут в тесные щели в камнях; их жёсткая чешуя скрипит о камень, как наждак.

Ещё поворот — и за ним звонкий — будто железка ударяет о камень! — крик птички — скалистого поползня. Тревога на всё ущелье!

Осторожно выглядываю из-за скалы.

Вижу: внизу кеклик вскочил на камень, вытянул шейку, на цыпочках тянется — так ему хочется узнать, почему крик. А выше выглянула из-за выступа козлиная голова с высоченными ребристыми рогами.

Оба — и козёл и кеклик — не оторвут глаз от поползня, что в тревоге мечется по скале и кричит, кричит!.. Им непременно надо узнать, о какой страшной опасности предупреждает маленькая птичка всех жителей ущелья. Поскорее надо узнать... Они смотрят на поползня и не замечают меня.

Выбирай любую добычу: птицу или зверя. Но время терпит. Прежде чем прогремит в ущелье выстрел охотника, должен сделать здесь свои наблюдения натуралист.

Мои глаза скользнули по золотым камням скалы и увидели то, что скрывалось за выступом от глаз козла и кеклика: на совершенно отвесной каменной стене — гнездо поползня. Будто кто взял и прикрепил к стене узкогорлый глиняный кувшин.

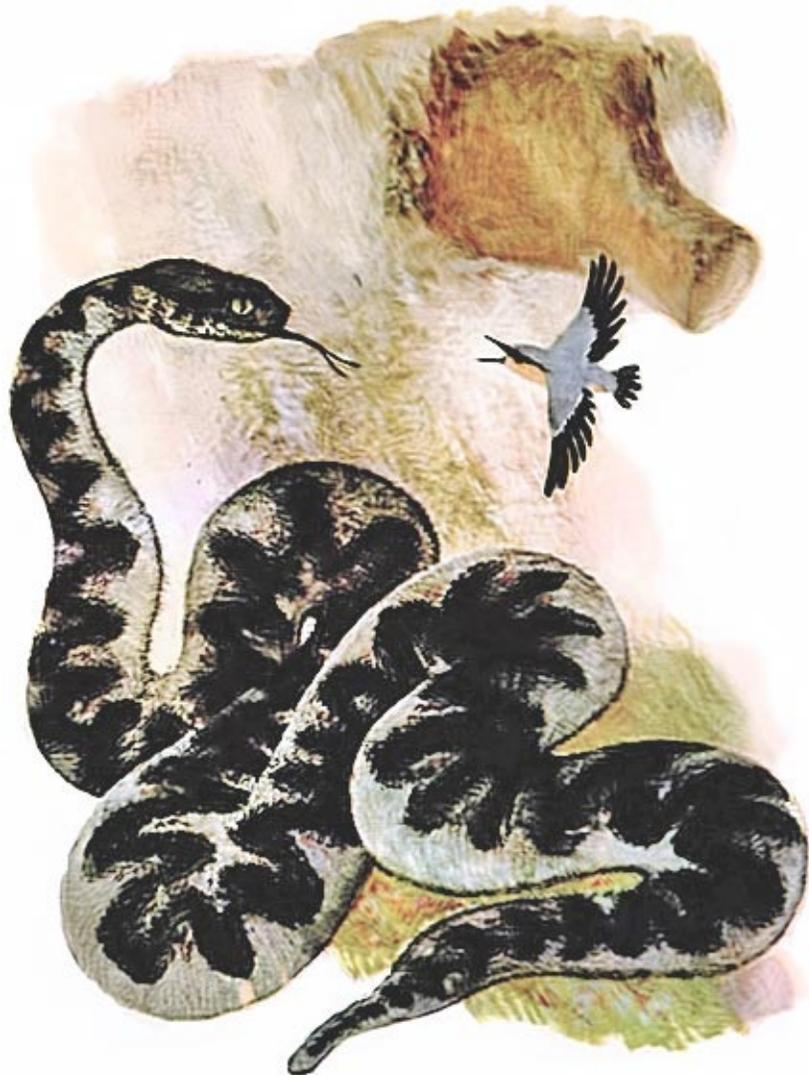
А внизу ползёт к нему, сокращая и вытягивая своё мутнопятнистое

кошачье тело, цепляясь им за выступы камня, гюрза — змея толщиной в мою руку, чей яд способен убить лошадь или верблюда.

Юлой кружится вокруг неё поползень — то вниз головой, то вверх — и кричит, и кричит, и крик его повторяет каждый камень; и кажется, камни кричат от страха. Но и стоголосый крик их не спасёт птенчиков от ядовитой гадины.

Стена отвесная, а гюрза ползёт. Опирается на хвост, поднимает голову и шарит ею, шарит по камню. Нащупает уступ — и перельёт на него своё тело, как ртуть.

Вот гюрза у самого кувшина — совсем рядом с тёплой птичьей спаленкой, где давно проснулись встревоженные криком желторотые поползнята.



Стенки кувшина гладкие. Неужели влезет по ним гюрза?

Опершись хвостом о шероховатый выступ скалы, змея нацелилась на

горлышко кувшина. Потянулась, потянулась к нему.

Вот треть, вот половина, вот две трети змеиного тела поднялись в воздух.

Поползень зашёлся криком.

Гюрза качнулась к горлышку, но не достала до него и, сдерживая равновесие, изогнула своё тело вопросительным знаком.

Сейчас пододвинется немножко — и заползёт в гнездо.

Чёрт с ним, с козлом! Не могу же я допустить, чтобы эта гадина у меня на глазах проглотила беспомощных птенчиков!

Я вскинул ружьё.

Но тут случилось чудо: маленький поползень, вспорхнув, ударил гюрзу в затылок клювиком, лапками, всем своим маленьким птичьим тельцем.

И слабый удар грозен, если нанесён вовремя.

Не сдержав равновесия, змея сорвалась со скалы.

Извивающееся тело её замелькало в воздухе и тяжело шлёпнулось о камни на дне ущелья.

Поползень юркнул в гнездо. Увидел, что все птенцы его живы-здоровы. Сейчас же опять выглянул из горлышка кувшина, но, заметив бьющуюся внизу гюрзу, испугался и спрятался опять.

Здесь моего выстрела не понадобилось, и, значит, желанная добыча ждёт меня.



Поднял глаза, но ни рогатой головы козла, ни любопытного кеклика уже не увидел.

Ладно, не жалко!

В путь, в путь! Впереди ещё поворот, за ним — ещё...
За каждым поворотом — новые встречи.
Охотнику — добыча, натуралисту — наблюдение.

В колее

В горах есть колёсные дороги, по которым проезжают только раз в году — туда и обратно.

В середине лета заскрипят по дороге арбы. Это жители долин поднимаются в горы на сенокос. Оживают тогда пустынные горы. Звенят косы, перекликаются человеческие голоса. В небо поднимаются синие дымы костров.

Но вот трава скошена и высушена. Обоз скрипучих арб, гружённых сеном, медленно тянется вниз. Горы опять становятся пустынными и тихи. До будущего лета ни одна арба не проедет здесь.

Весной по дорожным колеям мчатся мутные ручьи. Потом там, где бежали ручьи, потекут золотые потоки лютиков. Потом сменяют их голубые ручьи незабудок. Потом по всему склону хлынут пёстрые потоки цветов самых разных. Дорога потонет в буйных волнах зелени, и только чуть приметные следы колёс напомнят о пути, проложенном человеком.

* * *

В большую жару поднимался я по такой дороге.

Поникли к земле травы. Блеск камней слепил глаза. И вот у самого моего сапога блеснуло что-то влажное. Росинка?.. Нет, глаз!

И сейчас же из-под самой ноги выпорхнул жаворонок.

Выпорхнул и упал, побежал, волоча крыло.

Человеку давно известна эта птичья уловка: отводит!

Посмотрел я себе под ноги и в самой колее увидел гнездо. В гнезде — пять живых яичек: видно, как под тонкой скорлупой теплится маленькая жизнь.

Сколько надо труда, забот, а может быть, и жертв, чтобы сберечь эти хрупкие скорлупки и теплом своего тела раздуть в яичках, как в чуть тлеющих угольках, искорку жизни!

Я лёг в траву недалеко от гнезда и стал следить за жаворонком. И тут открылись мне маленькие птичьи хитрости и великая птичья любовь.

Когда долго лежишь неподвижно, как будто растворяешься в шири зелёных гор и синего неба.

Вот из колосков и трав высунулись два чёрных уха. А вот и вся

лисичка вскинулась на дыбки. Помедлила, склонив книзу острую мордочку, и вдруг нырнула в траву, прижала там что-то обеими передними лапами и носом. Мышкуют!

Закусив мышонком, поднялась из травы, осмотрелась..

Меня не заметила, не причуяла, будто я на самом деле растворился в воздухе. А жаворонка увидала.

Но для лисы у жаворонка своя хитрость.

Он смело подлетел и сел на камень у самого лисьего носа. Сидит и пёрышки чистит.

Лиса прыг к камню. А жаворонок — порх! — и на другой.

Лиса за ним, — а он на третий. Крыльев-то у лисы нет, — как за ним по воздуху угнаться?

Отвёл так лису подальше от гнезда, поднялся повыше — и назад.

Да вдруг кинулся за ним крылатый враг: соколог.

Но и тут оказалась у жаворонка своя уловка. Он пал на землю и юрк мышонком под камень.

Ловко и смело защищал жаворонок своё гнездо.

Всё же мне подумалось: обманет человека, отведёт лису, спасётся от сокола — и всё напрасно: однажды утром заскрипят арбы, и тяжёлое колесо раздавит гнездо в колее со всеми его пятью маленькими жизнями, И весь птичий труд, все жертвы пропадут даром.

Спустившись в долину, я часто вспоминал это обречённое птичье гнёздышко.

* * *

Шли дни. Наливались, тяжелели травы. Перестали петь жаворонки. В горах стало необычно тихо. И в этой тишине скрип первых арб раздался особенно резко. Косари поднимались в горы.

Ну, вот и конец птичьему домику...



* * *

В большую жару я опять поднимался по этой дороге.

Вот колея. Вот и место, где было гнездо. Тут я остановился и стал рассматривать вдавленные в землю соломинки и пёрышки — остатки птичьего жилья.

И вдруг, к моей великой радости, в двух шагах от меня из травы один за другим начали выпархивать желторотые жаворонята — все пять!

Они ещё плохо держались в воздухе: крылышки их были слабы и хвосты кургузы. Вихри и ливни грозили им бедой. В траве крались за ними лисы, а в воздухе сторожили соколки. Но теперь я был спокоен за них.

Я знал: родители научат их всем своим хитростям, и лисам и соколкам противопоставят они свою осторожность, ловкость, полёт.

Самого страшного они избежали — слепого колеса арбы.

Грабители

Мы разбили палатку на некрутом травянистом склоне. Противоположный склон был крут: огромная скала, как гладкая каменная стена, заслонила горы; из-под скалы стекала каменная река «курум». Скала называлась Кара-Кая — Чёрная скала.

И курум, и скала, и даже название скалы — Чёрная — дело в горах обычное. Но было совершенно необыкновенным поведение птиц у этой скалы. Каждый приблизившийся к скале стервятник или коршун вдруг круто, как по команде, сворачивал с пути и, влекомый невидимой силой, складывал крылья и мчался прямо на скалу. Ударялся вытянутыми лапами в её каменную стену и, цепляясь за неё и ударяя крыльями, сползал по стене вниз. Это повторялось изо дня в день. Наконец моё охотничье терпение лопнуло; захватив ружьё и сунув в карман патроны, я направился к непонятной скале.

Поднимался я к скале по куруму. Идти по куруму трудно и очень скучно. Жарко, ноги скользят на камнях. И пусто: зверьки и птицы избегают безжизненных каменных рек.

Но сейчас я был поражён: скала, казалось, притягивала к себе не только птиц, но и зверей. Мелькнула лисица — я заметил только её чёрные ушки. За ней пробежала вторая, вильнула рыжим хвостом. И даже лежебока-барсук покинул своё дневное убежище, вылез, серый, на серый камень и к чему-то упорно прилепился. Сладко засосало под ложечкой; так всегда бывает, когда сталкиваешься с неизвестным.

Скала рядом, нависла над самой головой. Я затаился в камнях.

И вовремя!

Летит стервятник. Жёлто-белый, с чёрными концами крыльев, он хорошо виден на тёмном фоне соседнего склона, будто солнечный зайчик бежит. Летит он мимо. Но вдруг невидимая сила повернула его к скале.

Слышу нарастающий свист; птица мчится прямо на стену.

У самой скалы стервятник распахнул крылья, выпятил вперёд скрюченные лапы.

Цепляясь ими за стену и хлеща крыльями, хищник скользит по стене вниз.

Я люблю птиц. Люблю не только за их песни и чудесную окраску.

Даже такие, неприятные для других пожиратели падали, как грифы, сипы или вот этот стервятник, по-своему приятны и интересны. Но за то,

что делал сейчас стервятник на скале, я бы своими руками разорвал его на куски.

Вот второй стервятник, летевший мимо Чёрной скалы, тоже вдруг круто повернул к ней, и я услышал зловещий нарастающий свист его полусогнутых крыльев. Теперь я знал, какая сила влекла хищников сюда!

Тысячи ласточек, чёрных с белым — воронков и бурых — горных, кинулись им навстречу. Облепили стервятника, как мошкара, кричали, клевали, дёргали за перья. Смелчаки кидались прямо на спину и летели вместе с ним, вцепившись в перо.

Но что значили для разбойника их слабые клювики и крохотные коготки?



Вот он заскользил по скале и когтями, клювом, крыльями стал срывать десятки ласточкиных гнёзд. Из-под его лап и хлещущих крыльев летели пух, перья, сухая трава и падали, падали вниз беспомощные ласточкины птенцы.

Я вскочил; первым выстрелом я сбил скользящего по стене стервятника, вторым отогнал второго, сидящего под скалой, — он хватал полуголых птенцов и глотал их целиком.

На скале гнездилась огромная колония ласточек.

Вся скала была усыпана их аккуратными кругленькими гнёздышками; сотни гнёзд. Много гнёзд, но и каждый залетающий хищник срывал их десятками. То, что не успевали подобрать крылатые разбойники, подбирали

барсуки и лисы.

Ласточки снова и снова лепили новые гнёзда и клали новые кладки; стервятники и коршуны опять и опять уничтожали их.

В кармане у меня оказалось пять патронов. Я все их расстрелял.

Но ведь не мог же я сидеть под скалой каждый день!

А грабители прилетят и завтра, и послезавтра, и будут летать до тех пор, пока на Чёрной скале не останется ни одного гнезда.

Я ушёл от скалы. Но долго ещё стоял у меня в ушах шум хлещущих по стене крыльев и отчаянные крики беспомощных ласточек.

Много-много дней я не смотрел в сторону скалы. А когда посмотрел, то понял: всё кончено. Чёрная скала больше не манила хищников, они равнодушно пролетали мимо.

Но я ошибся.



Когда я пришёл к скале, я увидел, что вся колония ласточек цела.

Из каждого гнезда выглядывали птенчики и щебетали без конца. Но только гнёзда теперь были не прямо на стене, а в широкой впадине, под навесом скалы.

Туда-то уж не доберётся ни один разбойник!

Обратно я спустился по куруму. Сейчас этот курум был пуст и безжизнен, как и все курумы. Барсуки и лисы покинули его.

И я, может быть впервые, был рад, что трудный путь мой не красили встречи.

Медвежий характер

Про волка всякий охотник скажет: умный и злой зверь. Про зайца — труслив косой. Про лису — хитра.

А вот про медведя спросишь охотников — мнутя, в затылках чешут. Нет у охотников о медведе единого мнения. Одни говорят — зол и свиреп, как волк. Другие — хитёр, как лиса. А третьи даже уверяют: трусоват мишка, что твой заяц.

Сам я медведей на воле не встречал: случай не представился. А очень хотелось. Хотелось самому решить, какой у медведя характер.

Случай — душа охоты. Пробирался я раз по горному склону, поросшему редкими пихтами и берёзками. И вижу — медведь! Лежит под обрывом ската на уступе в тени пихточки и спит. Близко медведь: в бинокль видно, как шевелятся от дыхания травинки у медвежьего носа. И как скачут на медвежьей шкуре весёлые солнечные зайчики.

Но медведю меня не учуять: ветер-то дует снизу вверх. А я его наверху чую: пахнет кислятиной и нагретой мокрой шерстью.

Я упал на землю, навёл на зверя бинокль и замер; сутки пролежу, а уж узнаю, какой он, медведь!

Медведь спал недолго. Вот он поднял башку. Повёл носом, но ничего не учуял. Тогда потёр морду о лапу. Лапу полизал. Перевернулся на брюхо и уткнул нос в землю.

Видно, сыт, вставать незачем. Вот лень и одолела.

Но вдруг зверь дрогнул и зашарил носом по земле. Что-то унюхал! Мне, конечно, сверху не видно, но догадываюсь: жучок проходной защекотал медведя по носу!

Жучишка удирает, а медведь башку склонил набок и одним глазом на него смотрит. Отполз жук, а мишка его носом прижал и к себе пододвинул. Жук опять удирать; торопится, наверное, карабкается через разные там веточки и бугорочки. Жук карабкается, а медведь его разглядывает. Серьёзно глядит — губы в трубку вытянул!

Отползёт жучишка — медведь его носом назад, чтобы видней.

Я ружьё в сторону отложил. Ни к чему оно: стрелять не сезон, а смотреть безопасно. Медведь-то, выходит, и впрямь вроде любопытной лисички! С жуком, верзила, игру затеял.



Прижал медведь носом жука да как фыркнет! Пыль вверх, а жук так и отлетел!

Мне жука не видно, вижу только, как медведь лапу вперёд вытянул и к себе гребанул, жука хотел подтащить. Да лапища-то здоровенная, когтищи-то что зубья у граблей, — видно, проскочил жук между когтей.

Рассердился медведь, напрягся весь, уши насторожил. Куда и лень девалась! Лапищу во всю длину вытянул, накрыл жука да как гребнёт к себе! Только когти по камню шаркнули!

А жучок опять между когтей! Убегаёт, мишке уж и лапой не достать. По земле носом шарит — жука ищет. Сердится, ворчит. Нос сморщил — клыки белые видно.

«Эге! — думаю. — Как бы этот игрун меня не нанюхал!»

Подтянул я к себе ружьё, курки проверил.

Не найдёт медведь жука. Камни ворочает, топчется на одном месте и ревёт глухо, будто гром вдали. На каменную глыбу навалился, вывернул. Загрохотала глыба под уклон. А жука всё нет!

Дыбом встала тут у зверя грива на горбу. Поднялся он на задние лапы. И вдруг заорал громко и грозно. В скалах рывкнуло эхо.

Медведь шагнул вперёд, облапил пихточку да так её рванул, что старые шишки градом посыпались на землю. Бросил пихточку, берёзку схватил; замоталась у берёзки вершинка, как при сильном ветре.

Бушует медведь, ревёт. Озлел — пена на морде. Свиреп, как волк!

Я ружьё схватил, курки взвёл, за камни пригнулся: такой-то зверь кому не страшен!

Сломал медведь берёзку. С лапы на лапу переступает, глазами ищет; что ещё схватить, сломать, опрокинуть? Поджался, как кошка. А когтищи!

А силища!

«Ещё сдуру в мою сторону бросится!» — струхнул я. Да скорей поднял вверх ружьё и выпалил из обоих стволов сразу. И тут мохнатое страшилище охнуло по-бабьи, присело да вдруг, прижав уши, дало такого стрекача, что зайцу впору!

Вот и сам, своими глазами, видел медведя. А если кто спросит, какой же у него нрав, я, как и другие охотники, буду чесать в затылке. Кто его разберёт! То свиреп и зол, как волк, то игрив, как лиса, то труслив, как заяц.

Но одно бесспорно: интересный зверь!

Серебряный хвост

Всю ночь в горах свистело и ухало. Что-то творилось там под покровом темноты и туч.

Утром глянул в окошко — пришла зима.

В горах зима спускается с вершин и всегда приносит неожиданное. Тут не усидишь дома!

Ружьё за плечо, в один карман — патроны, в другой — сухари.

Мороз. Снег такой яркий, что белые пичужки — вьюрки кажутся на нём лазоревыми. Струи ветра, что ночью со свистом летели над горами, к утру прилегли на скаты и застыли, — каждая в особицу. Одна — волнистой белой лентой; другая — острым ледяным гребешком; третья вильнула у камня, вымела воронку, промчалась дальше и, сорвавшись со скалы, снежным рулоном замерла над пропастью. И не узнать стало знакомых гор.

Вдруг на снегу чья-то маленькая лёгкая тень. Бабочка, белянка! Её не убил мороз. Летит куда-то — прятаться. Белую на белом не видно. Но на снегу порхает её синяя тень.

Не успела ещё застыть быстрая горная речка. Она плещет на чёрные камни зелёной водой, и от воды поднимается тонкий пар. Над речкой летит куличок, трогает кончиками крыльев воду: тронет и отдёргнет, тронет и отдёргнет, будто стряхивает с перьев обжигающие капли.

Снег неровен: где пушистый, где твёрдый как мрамор. По следу ласки вижу: широкими прыжками прошёл лёгкий зверёк по ледяному гребешку — и вдруг ухнул, провалился в рыхлый снег.

Да не страшен ласке снег: провалилась и пошла под ним, как рыба в воде. Вон, вон, вынырнула, вертит шоколадной мордочкой с белым подбородком, будто мышка на снегу копошится! Исчезла, потом опять вынырнула — уже подальше — из снега, вспугнула стайку лазоревых вьюрков.

Становлюсь на колени, заглядываю в ласкин ход. До чего у неё там красиво! Через снег пробирается солнце — и всё там лазоревое и золотое. Глаз не оторвать!

Поднимаюсь, дальше иду вдоль речки.

А вот лягушка — вся бурая с ярко-зелёными чешуйками ряски на спине. Дремучие кругом снега, а она вылезла на берег, на солнышко. Выкатила золотые глаза и крякнула: «Ка-ко-во?!»

А солнце ещё только поднимается из-за горы. Тень моя вытянулась

вниз по скату на полкилометра. Под ногами будто искры толчёного стекла. А там, где у тени голова, на берегу речки снег как слюда, и в нём отражается солнце. Смотреть туда невозможно: глаза слепит.

Всё же приметил: там что-то движется... По тени не понять: тени от ног как жерди — будто жираф, а может, верблюд.

Скорее за камень, под его снежную шапку!



Отсюда вижу: не жираф, не верблюд, а лиса. Наша, горная лиса: вся серая, гривастая, а хвост... Хвост совершенно необыкновенный — серебряный!

Бежит лиса вдоль берега по ледяному гребешку, мотается её хвост из стороны в сторону, так серебром и полыхает! Пробегает подо мной.

Далековато... Ну да авось!

«Бумм!» — обдало лису снегом. «Бумм!» — из другого ствола.

«Бумм-бумм!» — отдалось в горах.

Уходит лиса! Скользит по насту, проваливается в снег, опять выскакивает на твёрдое; мечется её хвост вверх, вниз, в бока, вспыхивает серебряным пламенем. Я дрожащими руками ружьё перезаряжаю...

Уходит лиса, уносит невиданный серебряный хвост!..

Ушла! Исчезла за поворотом речки. Сгинула — как не бывало!

Упустил такую добычу! Растяпа!

Сорвал я с головы шапку — и бах её в снег.

Сапоги свои увидел, — так и обмер. Это что же такое?!

Живо шапку схватил, напялил, — и рысью вниз, к речке.

Вот он — лисий след. На нём ни кровинки. И искать не стоит.

Я — назад по следу. Недалеко от того места, где я перешёл речку, подошёл к берегу и лисий след.

Вот тут она прыгнула через ручей. Да не допрыгнула, сорвалась в воду задом и с трудом выкарабкалась на обледенелый берег. Окунула свой пышный хвост в тёплую воду.

Ну и конечно: пока бежала по слюдяному насту, хвост обмёрз, каждая волосинка покрылась ледяным чехоликом, — мороз-то вон какой! И стал хвост серебряным. Как мои сапоги от перехода вброд...



Взял меня смех. Ловко же обманула меня причудница зима. Каким сказочным зверем поманила.

А пока я хохотал над собою, туча заслонила солнце. Потянули ветерки из ущелий. Стронули снег с места. Ледяные гребешки превратились в ленты, ленты потекли, закружились, завихрились вокруг камней, серебряными водопадами полились со скатов и круч.

Метёт метель, заметает следы звериные.

А чтобы так же не замело у меня в памяти этот случай, я присел на

камень и записал смешную маленькую историю, как проказница зима всё в горах разукрасила, всё сделала незнакомым и немножко сказочным.

Медвежья горка

На охоте видишь зверя через прицел ружья. И потому всегда видишь его разъярённым или в страхе.

Увидеть зверя непуганым, за его домашними делами — редкая удача.

Мне пришлось.

Охотился я в горах на горных индеек-уларов. До полудня пролазал зря. Улары — самые чуткие птицы гор. И лазать за ними приходится по кручам у самых ледников.

Устал. Присел отдохнуть.

Тишина — в ушах звенит. Жужжат на припёке мухи. Кругом горы, горы и горы. Вершины их, как острова, поднялись из моря облаков.

Местами облачная пелена отодвинулась от склонов и в зазор видна тёмная подоблачная глубина. Проскользнул в зазор солнечный луч, — по подоблачным лесам заколыхались подводные тени и блики. Попадёт в солнечный луч птица — сверкнёт, как золотая рыбка.

Разомлел я на припёке. И заснул. Спал долго. Проснулся — солнце уже вечернее, с золотым ободком. От скал протянулись вниз узкие чёрные тени.

Ещё тише стало в горах.

Вдруг слышу: рядом, за бугром, будто бык вполголоса: «Мууу! Муууу!» И когтями по камням — шарк, шарк! Вот так бык! С когтями...

Выглядываю осторожно: на уступе ската медведица и два медвежонка.



Медведица только проснулась. Закинула башку вверх, зевает. Зевает и лапой брюхо чешет. А брюхо толстое, мохнатое.

Медвежата тоже проснулись. Смешные: губастые, головастые. Сонными глазами луп-луп, с лапы на лапу переминаются, плюшевыми башками покачивают.

Поморгали глазами, покачали башками — и схватились бороться. Лениво спросонок борются. Нехотя. Потом разозлились и сцепились всерьёз.

Кряхтят. Упираются. Ворчат.

А медведица всей пятернёй то по брюху, то по бокам: блохи кусают!..

Послюнил я палец, поднял — ветер на меня тянет. Перехватил ружьё половчее. Смотрю.

От уступа, на котором были медведи, до другого уступа, пониже, лежал ещё плотный нестаявший снег.

Дотолкались медвежата до края, да вдруг и скатились по снегу на нижний уступ.

Медведица перестала брюхо чесать, перегнулась через край, смотрит.

Потом позвала тихо: «Рррмуу!»

Покарабкались медвежата наверх. Да на полгорке не утерпели и схватились опять бороться. Схватились — и опять покатались вниз.

Понравилось им. Выкарабкается один, ляжет на пузечко, подтянется к краю — раз! — и внизу. За ним второй. На боку, на спине, через голову. Визжат: и сладко, и страшно!



Я и про ружьё забыл. Кому же придёт в голову стрелять в этих неслухов, что штаны себе на горке протирают!

Медвежата наловчились: схватятся и катятся вниз вдвоём. А медведица опять раздремалась.

Долго смотрел я на медвежью игру. Потом вылез из-за камня.

Увидели меня медвежата, — притихли, во все глаза глядят.

А тут и медведица меня заметила. Вскочила, фыркнула, вскинулась на дыбы.

Я за ружьё. Глаза в глаза смотрим.

Губа у неё отвисла, и два клыка торчат. Клыки мокрые и от травы зелёные.

Вскинул я ружьё к плечу.

Медведица схватилась обеими лапами за башку, рывкнула — да вниз с горки, да через голову!

Медвежата за ней — снег вихрем! Я ружьём вслед машу, кричу:

— А-а, растяпа старая, будешь спать!

Скачет медведица по скату так, что задние лапы за уши забрасывает. Медвежата сзади бегут, курдючками толстыми трясут, оглядываются. И холки горбиком — как у мальчишек-озорников, которых матери закутают зимой в платки: концы под мышки, и на спине узел горбиком.

Убежали медведи.

«Эх, — думаю, — была не была!»

Сел я на снег и — раз! — вниз по накатанной медвежьей горке. Оглянулся — не видал ли кто? — и весёлый пошёл к палатке.

Лесные сигналы

У охотника много помощников: собаки, подсадные утки-крикуши, прирученные ястреба и соколы. Даже могучие орлы служат охотнику — выдрессированные, они ловят для него птицу и зверя.

Но лучший помощник охотника — собственная его наблюдательность.

Умелый, опытный охотник даже диких жителей леса заставит работать на себя.

Такой охотник не мечется по лесу.

Посидит на пеньке, покрытом мягкой моховой подушкой. Постоит, посмотрит кругом, привалившись плечом к шершавому стволу. Вверху тяжёлая зелень листвы. Внизу узорные листья папоротников. И вверху и внизу гоняются друг за другом солнечные зайчики.

Глаза охотника отдыхают. Но без усталости работают сейчас десятки быстрых и зорких глаз лесных жителей.

Вот пискнула птичка.

Охотник ладонь к уху — чтоб лучше слышать. Птичка-то особым голосом пискнула — значит, по особому случаю. Значит, что-то страшное для себя увидела. Может, это страшное сейчас в кустах таится, может, неслышно крадётся в траве.

Замри, охотник, это сигнал! Это вернее, чем стойка собаки или позыв утки-крикуши.

Вот вторая птичка пискнула по-особому.

Теперь быстрее туда, на место лесного происшествия.

Подтаись, отведи ветку от глаз, осторожно выгляни из-за шершавого ствола и там, на крохотной лесной полянке, увидишь...

Да мало ли что можно увидеть на полянке в глухом лесу!

Что видано, — обо всём не расскажешь. Разве что вот вспомнить про смешную историю с сойками?

Плёлся по лесу медведь. Медведь на ходу постоянно гудит. Не поймёшь — то ли в брюхе у него урчит, то ли недоволен чем. Ворчит вполголоса.

Башка у медведя седая — немало, видно, по кустам продирался, всю паутину на башку собрал.

А позади, перелетая с дерева на дерево, провожают медведя хрипатые сойки. Пара проводит до края своего гнездового участка и передаёт

медведя соседям «из рук в руки». Те — следующим.

Галдят не очень громко, так — брюзжат вполголоса. Но покоя медведю не дают.

Озлел медведь; может, и гудит-то от злости. Торопится.

Давно скрылся медведь за деревьями, а всё слышно, где он. Не отстают проклятые сойки!

Когда я увидел его, разгадал эти крики соек, я подумал, что овладел ключом ко всем лесным тайнам. Кто может укрыться от зорких птичьих глаз? Не поможет теперь хитрость и чуткость тому, кто обманывал меня до сих пор!

В то время в горах объявился барс. Многие слышали его рёв. Но увидеть зверя не могли даже самые опытные следопыты. Зверь был хитёр и чуток.

У меня зародилась дерзкая мысль: а что если найти зверя с помощью лесных разведчиков — соек?

Я стал не спеша ходить по лесу. Подолгу сидел на пеньках.

Глаза и ноги мои отдыхали. Но ухо я держал востро!

И вот однажды, сидя на пеньке, услышал я неистовый соечий крик — будто их кто за хвосты схватил.

Вскакиваю на ноги и — за ружьё.

На медведя и то вполголоса кричали, а тут орут на весь лес.

Я вдруг ясно представил себе холодные жёлтые глаза и пятнистую, будто в жёлтой чешуе, морду барса.

Сердце замерло: трофеей такой — великая охотничья слава.

Редкостной мечтой стал теперь для охотника горный красавец барс.

Быстро вкладываю в ружьё патроны с пулями. На четвереньках, на животе, а где и просто перекатываясь по скату, пробираюсь на крик. Щупаю ногой землю — не хрустнул бы сучок...

Вот просвет в лесу. Шумит по камням речушка. На галечном берегу — валуны. И вижу: сидит на большом валуне сойка с чёрным хохлом, а вторая как сумасшедшая носится вокруг. И обе так орут, так орут, будто увидели медведя и барса сразу.

Взвожу курки.

Вглядываюсь в листву, в папоротники... До слёз в глазах вглядываюсь.

Странно: никого нет...

Вдруг сойка, сидевшая на валуне, взлетела и схватила вторую — сумасшедшую — за хвост! Да нет, не за хвост, а за что-то, что висело у неё на хвосте.

«Что-то» отцепилось от хвоста и упало на гальку.

Тогда обе сойки вспорхнули на валун, вытянули вниз шеи и заорали ещё громче. На кого же это они так?



Да на краба! В бинокль вижу, как краб присел на своих паучьих ножках и выставил вперёд две большие растопыренные клешни.

Сойки налетели разом, схватили его за клешни, дёрнули — и оторвали их. Краб боком-боком побежал к воде, перебирая лапками, как пианист пальцами по клавишам. Сейчас удерёт!

Но не тут-то было!

Одна сойка схватила его с одного боку, другая — с другого.

Началась драка. С криками обе скрылись в лесу.

Я поднялся и вынул из ружья патроны.

Вот и суди по крику! Краб-то на хвосте оказался для соек страшней медведя и барса. Какой шум подняли!

— Хорош мой способ, — усмехнулся я. — Только уж не сердись, если вместо барсовой шкуры крабовой клешней завладеешь. Зато отдыхал, на пеньках сидел, глаза, ноги берёг...

Я подошёл, поднял обе оторванные сойками клешни — на память о смешном случае — и шагнул в кусты.

Шагнул, да и замер: на сырой чёрной земле ясно отпечатались круглые следы тяжёлых барсовых лап!

Зверь только что был здесь. Он, видно, как и я, тоже пришёл на шум. Только я смотрел на соек, а он — на меня. Пока я таращил глаза на краба, барс лежал за кустом и следил за мной. Круглые жёлтые глаза его щурились, кончик хвоста вздрагивал. Жёсткие усы, наверное, топорщились в злой усмешке.



И думал барс: «Дурень ты, дурень! Барса — хозяина гор — задумал на глупых сойках поймать! Я не медведь — лесной шатун. Я лежу под деревьями на моховых зелёных диванах и сам слушаю все птичьи разговоры. Птичий язык я знаю лучше тебя... Но тебе повезло: я нынче сыт...»

Дрожащими руками я снова зарядил ружьё и, прикрыв курки шапкой, взвёл их без шума.

Внимательно, не доверяя больше чужим глазам, огляделся кругом. Лес был глух и пуст.

Он умел хранить свои тайны даже от птиц.

У лисьей норы

Захлёбываюсь ветром. Обеими руками зажимаю рот и нос и — тону. Тону, как тонут в бешеной горной реке. Над глыбами камней завиваются смерчки пыли. В скалах рёв, будто обрушиваются на скалы тяжёлые океанские валы. Вот сшибло меня с ног и швырнуло на склон. Поволокло, покатило. Сунуло лицом в какую-то дыру в земле.

Приоткрываю один глаз: дыра — вход в лисью нору. На затоптанном холмике у входа в нору заячьи кости, птичьи перья, мыши. Лисья семья живёт.

Открываю второй глаз — и вдруг в норе, недалеко от входа, вижу живую птицу! Птичка-невеличка, с воробья. Серенькая. Прижалась к стенке норы, хохлится и жмурит тёмный глазок. Нет, не лиса её принесла, — лиса не оставила бы птичку живой. Птичка сама спряталась в лисью нору от бури!

«Ну, брат-птица, — подумал я, — тебе ещё хуже!»

Я спрятал голову за камень и стал ждать конца непогоды. Грохотали в скалах океанские валы. Крутились над камнями чёрные смерчки. Меня засыпало песком и землёй. Песок тёк в уши, набивался в глаза, скрипел на зубах.

Дышу через платок и нет-нет да и приоткрою глаз: как-то там мой товарищ по беде? Ничего. Сидит. Терпит. Но вдруг вижу: птичка вытянулась, пёрышки прижала — стала тоненькой-тоненькой. Глазок насторожила в темноту норы и пятится, пятится к выходу. Выскочила из норы, перескочила на утопанный бугорок. Ещё чуть — и вихрь сорвёт её, заломит крылышки, помчит по склону, как сухой листок...

А из тёмной норы медленно высовывается мокрый рубчатый нос. Потом два косоватых жёлтых глаза. Лисёнок!



Стукнул я кулаком по земле, — нос и глаза исчезли. Приподнялся, — птичка шмыг назад в нору!

Протянул я к ней руку — не улетает. Жмётся к стенке и клювик разевает от страха.

Взял я тогда птицу в руку. Дрогнуло в ладони горячее тельце. Но не вырывается. Только сердчишко, как часики: тик-тик-тик!

Разглядел я птичку. Горный конёк называется.

— Ну, раз назвался дружкой — полезай в карман! — сказал я коньку. И спрятал его в карман.

Два раза ещё высовывался из норы мокрый рубчатый нос. Но я грозил носу кулаком, и нос прятался.

Буря кончилась только к вечеру. Я поднялся. Сплюнул. Вытряхнул песок из карманов, из сапог. Протёр глаза, вычистил уши. Потом достал конька и посадил его на ладонь. Он встряхнулся, скосил на меня глаз. Вспорхнул и полетел рывками, как Конёк-горбунок поскакал.

— До встречи! — крикнул я ему вслед.

Постоял и начал подниматься в гору.

Лешева дудка

Жил я в горах один. Палатку поставил в лесном ущелье. Называлось ущелье — Чёртова щель.

Была весна. Солнце нагрело воздух. Снег сошёл — остался только в промоинах. Я переходил промоину по снегу и ухнул в снеговую жижу. Выкарабкался, но промок до нитки. И заболел.

У костра и то бил озноб. А солнца тут и не дождёшься. Холодина. Вот чёртова щель!

Особенно холодно под утро. На землю ложится иней.

Мокрые облака заливают ущелье, и всё видится как сквозь мутную воду.

Сплю одетым, натянув сорок одежек: рубахи, свитер, телогрейку, бурку. На землю постелил спальный мешок и с головой заполз под меховое одеяло.

Ноют спина и ноги, наломанные за день. От сырого мехового одеяла воняет псиной. То жжёт жар, то бьёт озноб. И тогда зубы клацают так, что нужно рукой прижимать прыгающую челюсть. В горле хрипит, в груди мокро хлюпает.

Все болячки начинают ныть. Саднит язык и губы, обожжённые о жестяную кружку. Чешутся руки, ободранные о колючки.

Лежу, вытаращив глаза в темноту, и хриплю. Перед горячими глазами роями кружат зелёные и красные искорки. Как светляки.

И так-то меня скрючило, что и днём встать не могу. Плохо дело. Помочь некому: людей близко нет.

Прошли ночь и день. И ещё ночь и день. Настала третья ночь.

Лежу в полузабытьи. И вдруг слышу: где-то далеко-далеко, за горой, свирель заиграла! Да так славно: то громче, то чуть тише, с переливами. Чабан, наверно, играет. Чабан-музыкант.

Обрадовался я: чабаны отары овец и коз в горы пригнали! Не один я теперь. Люди близко — помогут. Только что-то уж больно рано они пригнали отары: травы не густо, в промоинах снег.

А чабан играет, играет — да так хорошо!

Спокойно мне стало. И стало клонить в сон. Первый раз за три ночи. Да какой тут сон, раз пастух заиграл! Утро небось. Вон и в палатке посветлело. Не спать, а вставать пора.

Выглянул я из палатки, — а на дворе ночь глухая! Лес тихий,

настороженный, чёрный. Тучи зелёные прямо по вершинам елей волочатся: клубятся, ползут, шевелятся. А что светло — то от луны. Луна в тучах, как золотая рыба в зелёных волнах, ныряет.

Тишина. Холодина. Дудки не слышно... Жутко.



Заполз я обратно в палатку. Забился под одеяло. И только пригрелся — слышу: опять свирель заиграла.

Слушал я, слушал ночного музыканта — и уснул. Да крепко — до полдня спал.

В полдень заглянуло в ущелье солнце. Долго я ждал, прислушивался, но к палатке так никто и не пришёл. И дудки я днём не слышал.

А ночь пришла — опять! Ломает меня, трясёт. И слышу: рожок! На горе дудит, пиликает. Хорошо чабан играет!

Сразу я успокоился: «Не ушли люди, найдут меня!» Но что это за чабан — по ночам дудит? Вот леший — сна на него нет!

А далёкая свирель пиликает да пиликает. На душе от неё легче, и в сон клонит.

Так и заснул я под лешеву дудку.

И так повелось. Лежу ночью под вонючим меховым одеялом, зубами стучу, в горле хлюпает. Лежу и жду дудку. Тут ли она? А она тут. Только пригреюсь, слышу — заиграла! Тихо, тихо. Далёко, далёко. За горами, за долами.

Успокоюсь. Вслушиваюсь, вслушиваюсь и усну. А усну — и болезнь не в болезнь! Удивляться я перестал: ущелье-то чёртово!

Я даже заметил: лежу на правом боку — слышу дудку, перевернусь на левый — нет ничего! Всё и спал на правом боку, пока совсем не выздоровел. Да так за болезнь правый бок отлежал, что и здоровый стал спать только на левом. И дудки потому больше не слышал. Да она мне, здоровому-то, и не нужна. Я и без дудки стал спать крепко.

Так крепко стал спать, что чуть чабанов не проспал. Они всё же пришли к моей палатке. Отару мимо гнали — на горные луга — и зашли.

Я высунулся из палатки, спрашиваю:

— Кто это из вас на дуде по ночам дудел?

Чабаны смеются:

— У нас и дудок-то нет. Померещилось тебе!

— Как так нет?

— Да так, нет.

Задумался я. Дудка-то, выходит, и впрямь лешева!

За делами скоро забыл я про ночного музыканта. Дел накопилось — успевай поворачиваться. Снег весь сошёл. Поднялась трава. Тепло стало.

В один тёплый день, как только солнце заглянуло в ущелье, стал я стаскивать с себя свои сорок одежек. Сбросил телогрейку, куртку, рубаху верхнюю. Остался в нижней. И пошёл к ручью мыться.

Только нагнулся — пилик кто-то рядом лешевой ноткой! Я кругом — никого! Справа — пилик! Я направо. Опять никого! Сзади, — я кругом! Пусто.

И вдруг прямо в ухо — заиграло, задудело, запиликало! Скопил я глаз и вижу: сидит на рубахе на правом плече кто-то чёрненький и мохнатенький. Пригляделся — сверчишко крохотный! Вот чертёнок!

Дёрнул я плечом, сверчишко — нырк! — под воротник. Ах, лешев сын!

Так вот кто по ночам мне на рожке играл!

Мне, больному, сквозь дрёму казалось, что пастух на дудке играет. Далеко, за тёмными лесами. А это сверчок! Рядом, под воротником, на правом плече. Вполголоса, у самого уха.

Вокруг холодина, а ему на моей шее под сорока-то одежками, да ещё у больного с жаром, уже и лето настало! Стал он свою скрипочку настраивать на весёлые летние песенки. Нагрею я правый бок, перестану ёрзать — он и затянет. Пиликал и дудел помаленьку. Сам себя веселил. Себя веселил и меня усыпил. Усыпил, успокоил и вылечил. Потому что надежда для человека — лучше самого лекарства.

Щёлкнул я легонько музыканта — полетел он в траву. Пусть теперь в траве живёт. Может, ещё кому пригодится.

Зимнее лето

Заблудился я в горах. Поднялся на самую высокую вершину, стал высматривать: может, человека увижу или хоть дым от костра.

Вглядывался, вглядывался и увидел: идёт глубоко вниз по снежному хребту человек. Как чёрная муха по бумаге ползёт. Вгляделся я: ружья за плечами не видно — значит, не охотник. Может, лесоруб, может, мужичок-лесовичок: дранкокол или углежог. Это хорошо. Такой скорей на дорогу выведет: сам к дому идёт.

Заприметил я этот снежный хребтик с чёрным человечком и пошёл по скату вниз — вдогон.

А тут облако большущее, как лебедь, белое, подплыло к хребтику и село на него. Закрыло и хребтик и мужичка. Да то не беда: по следам догоню.

Спустился я на хребтик, вошёл в облако. Как в воду нырнул. Ничего, были бы следы лесовичка на снегу видны. По следам и из облака выйду.

Иду, иду по хребтику, а следов всё нет. Шёл, шёл — и усомнился: может, человечек вниз из облака полез?

Пошёл назад по своим следам. Шёл, шёл — кончились мои следы! Вот чертовщина: тут вот есть мои следы, а дальше нет... Будто я на снег, как птица, с воздуха сел!

Закружил я. А хуже нет в горах — кружить. Ничего не пойму: откуда пришёл, куда идти? Только и видно снег под ногами. Да на деревья натыкаешься. Стволы у деревьев мокрые, а вершин и совсем не видно.

Сел я тогда на пень. Спиной к коряжине привалился.

Глаза закрыл и жду, когда облако-лебедь дальше поплывёт.

Сидел, сидел — замерзать стал. И тут чувствую: сразу вдруг потеплело и сквозь веки жёлтый свет засиял. Открыл глаза, да скорее опять зажмурил! Снится мне, что ли?

Осторожно открываю один глаз. Потом второй. Чудеса! Под ногами сугроб, а над головой зелёные деревья шумят!

Облако-лебедь дальше уплыло. Солнце сияет. Каждая морщинка на коре видна. А я глазам не верю!



Вверху, над головой, бушует зелёный трепетный океан! В зелёных волнах листвы мечутся стайки солнечных рыб — бликов. А выше, над всей этой зелёной суматохой, что-то огромное и голубое.

Вот таким, наверное, видит мир птенец, только что выклюнувшийся из яйца. Уж не облако-лебедь ли высидело этакое чудо?

Вниз смотрю, под ноги, — зима! Снег, сугробы, синие тени. Вверх голову подниму — лето! На деревьях тяжёлая листва. В листве жёлтые иволги — как солнечные зайчики.

Под ногами — зима. Над головой — лето. А по календарю — начало мая. Весна!

Ноги на снегу мёрзнут. А спину жжёт — так припекает.

Разделся я до пояса. Одежду в рюкзак сложил. А из рюкзака достал шерстяные носки и надел на ноги. Хорошо сидеть в летне-зимнем лесу в зимне-летней одежде!

Дремучие кругом снега и... мёдом пахнет!

Куда лесовик завёл!

На снегу дрожат синие тени зелёных листьев. Над снегом бабочка белая порхает: одна голубенькая тень видна.

Внизу, под деревьями, на снегу, северные птички — синицы. Подбирают подмёрзших жучков и мух. А вверху, над деревьями, летят южные птицы — золотые щурки. На лету клювом щёлкают — пчёл ловят.

Рядом зимняя тишина и шум лета. Песни зябликов, зарянок, синиц. И от зимы до лета рукой достать!

Я и достал: отломил зелёную ветку и обил ею, как веником, засыпанные снегом ботинки.

Долго сидел я на пне. Потом встал и пошёл. Иду и дивлюсь: шагов сорок пройду, оглянусь, а там, где стоял, уже и следов нет! Солнце на глазах снег съедает. Вот так и лесовик от меня ушёл — как на облаке улетел.

Но недалеко он ушёл. Оказалось, он, как и я, тоже в облаке сидел, погоды ждал. Вижу я: ходит старичок под деревьями, бородёнку вверх задрал — высматривает. На голове треух — одно ухо вверх, другое опущено.

— Здравствуйте, — говорю. — Летом любуетесь?

— Вот ещё, — отвечает, — люблюсь! Зарубки свои потерял. И чайник ищу. А то — люблюсь. Здравствуйте! Да вот он, клятый! — обрадовался старичок.

И я увидел: на тёмном пихтовом стволе — белый затёс. У затёса на сучке — чайник. Да только затёс-то этот и чайник на высоте одноэтажного дома!

Посмотрел я на старичка очень внимательно. Серьёзный старичок. И уж конечно, лесовик: дранкокол либо углежог. Чего он меня дурачит?

А старичок как ни в чём не бывало:

— Я зимой по хребту шёл, пихты на дранку метил. Вот тут чай кипятил. Чайник на сучке забыл.

Только хотел я спросить: «Как же ты, мил человек, до такой высоты достал?» — как сам всё понял.

Все чудеса — из снега!

Намело его за зиму на хребет — в полдерева. Тогда старичок и прошёл — зарубки свои зарубил. И чайник на сучок повесил.

Пришла весна — стал снег оседать. Оседает быстро, да уж больно много его. Деревья из-под снега на глазах растут. И чайник вверх поднимается.

Южное солнце жжёт — не шутит. Стали набухать на ветвях почки. Потом лопнули почки. Как коконы лопнули, зелёные бабочки — листья — вылупились. Расправили бабочки зелёные крылья — зашумела листва. Птицы прилетели — запели. Лето сверху пришло. А понизу ещё зима. Снег. Растаять ещё не успел.

— Растает, — махнул рукой старичок. — Вот ещё!

И пошли мы с ним по зарубкам к дому. Чай кипятить да пить.

Кара-Баш

Свора псов ринулась на нас с лаем и воем. Собаки мчались от кочёвки, видневшейся на горе. Кочёвка — это сарайчики, сложенные из дикого камня. Летом в них живут колхозные чабаны. Трава в предгорье летом выгорает от зноя, и чабаны перегоняют стада овец и коз на прохладные горные луга. Перегонять и пасти стада помогают чабанам собаки.

Собачья свора развернулась в цепь. Впереди стаи мчал вожак — огромный пёс, жёлтый с чёрной головой. За ним на цепи волочился и подскакивал кол. Пёс выдернул его из земли.

На шее вожака ошейник из буйволиной кожи, утыканный железными крючьями — местное средство от волчьих зубов.

Стая собак весело неслась на нас. Весело, потому что псы, одуревшие от скуки, рады были вволю побрехать, поскакать и поскалить зубы на чужих людей.

Один вожак скакал молча. Молчание его было жутко.

Я первый раз в жизни видел такого уroda. Один глаз его вытек. Зато второй горел с удвоенной яростью и злостью. Из-под разорванной губы, сросшейся бугристым рубцом, торчали белые мокрые клыки.

Всё большое собачье тело в бороздах — будто железными граблями сдирали с него кожу. Шкура срослась, но неровно, буграми. Шерсть торчала клочьями. Пёс припадал на кривую заднюю лапу и был похож на низкозадую гиену.

Урод не шутил. Он пригнул чёрную башку, сморщил порванные губы и оскалил клыки, примеряясь к броску.

Я сорвал с плеча ружьё и выпалил поверх его чёрной башки. Урод шарахнулся вбок и, всё так же молча, кинулся на меня сбоку. Второй раз я выстрелить не успел. С кочёвки громко кричали; пёс с ходу, откинувшись назад, пробороzdил рыхлую землю всеми четырьмя лапами. Потом, с видимой неохотой, повернул и затрусил к кочёвке. За ним повернула вся стая. С весёлым брехом и визгом собаки понеслись к кочёвке, хватая друг друга зубами за бока.

Я рукавом вытер пот со лба.

Навстречу спешил старик чабан в огромной косматой папахе, с длинной палкой на плече.

— Ну и пёс у тебя, — сказал я, — гиена бешеная!

— Ёх, ёх, — заулыбался старик, — хорош собак. Якши Кара-Баш!

Мы шли за чабаном. Чабан длинной палкой расталкивал овец. Собаки, ворча и поглядывая исподлобья, уступали нам дорогу.

Мы нагнулись и вошли за чабаном в сарайчик старика. За нами и собаки просунули в дверь сарая мохнатые морды. Глаза их в темноте вспыхивали то зелёным, то лиловым огнём. Но мы уже не боялись: гости хозяина для собак неприкосновенны.

Прихромал и урод. Он тоже ждал подачки. Но никто из нас не бросил ему куска. Кому приятно смотреть на злобную скотину, покрытую бугристыми шрамами и всклокоченной шерстью! К тому же чабаны остригли его овечьими ножницами, оставив на плечах львиную гриву. Своим единственным глазом пёс следил, как более счастливые попрошайки ловят куски прямо на лету.

Скоро урод понял, что всем он тут противен, и хмуро ушёл в угол. Но и там он кому-то помешал, его ругнули, и он, хромя и поджимая хвост, выскочил во двор.

Перед сном мы вышли покурить.

Горы вокруг были уже тёмные. Небо на востоке — зелёное. На зелёном дрожат первые звёзды. Дрожат, будто замирают от страха на такой высоте. На заходе небо ещё оранжевое. Над всей чёрной громадой гор вознеслась сверкающая снежная вершина. Лучи солнца ещё освещают её, и она взметнулась над ночью, как язык жёлтого пламени. Над горой неподвижно повисло красное облачко.

— Красиво! — сказал я старому чабану.

Чабан удивлённо посмотрел на меня.

— Зачем красиво? — ответил он. — Персик нет, кишмиш нет, барашка нет, — один снег.

Ковыляя, к чабану подошёл пёс-урод.

— Ну и образина! — сказал я.

Чабан покачал головой.

— Зачем образина? — с трудом выговорил он. — Хорош собак, красивый собак!

Теперь я удивлённо посмотрел на чабана.

— Ты не смотри, — сказал чабан, — ты чувствуй.

Но я ничего не почувствовал. Спорить же не хотелось.

Я просто спросил, почему у собаки такие рубцы.

Чабан поманил нас пальцем, и мы вернулись в сарай. Рассказ старика я хорошо запомнил.

Лет пять назад на этой кочёвке у белой собаки родились щенята. Щенят утопили. Одного только оставили — жёлтого, с чёрной головой.

Оставили и назвали Кара-Баш. Это значит: Чёрная башка. Черноголовый.

И в эту же ночь на отару напал барс. Собаки в ужасе разбежались, а обезумевшие от страха овцы и козы лавиной хлынули с горы на чабанов, сбили их с ног и чуть не затоптали.

Барс схватил ягнёнка.

Мать Кара-Баша была хорошая собака. Она кинулась на барса, вцепилась ему прямо в морду, и оба — барс и собака — покатались в овраг.



Всю ночь чабаны собирали разбежавшихся овец и коз. И всю ночь трусливо брехали собаки, повернув морды в сторону лесного оврага.

Утром чабаны увидели: на краю оврага лежит мёртвый ягнёнок. Над ягнёнком — овца. Она нюхала и толкала его мордочкой. Вымя её набухло, и она жалобно блеяла. А на дне оврага нашли мёртвую мать Кара-Баша. На белую шею ей будто надели красный ошейник.

Осиротевший щенок пищал от голода. Чабаны сунули его носом в тугое овечье вымя — и он зачмокал. Овца задёргалась, но её придержали, и она успокоилась.

Так Кара-Баш нашёл новую мать — овцу. А овца нашла нового сына.

Овцу привязали к столбику, и щенок спал вместе с ней.

Он был совсем ещё маленький и отползал от овцы только на длину своего хвостика.



Щенок быстро рос. Скоро овцу опять пустили в стадо. Кара-Баш, толстый, как головка овечьего сыра, покатил за ней. Так они и жили вместе — овца и собака.

Прошло два года.

Кара-Баш стал самым большим и самым сильным псом в своре. Силой и смелостью он был в свою родную мать. А от приёмной матери — овцы — он унаследовал слепую преданность стаду.

На лето чабаны опять пригнали отары на горные луга. У овец начали родиться ягнята. Родился ягнёнок и у приёмной матери Кара-Баша. Кара-Баш до сих пор помнил свою приёмную мать и отличал её в стаде. И она позволяла ему обнюхивать своих ягнят.

Барс не оставлял кочёвку в покое.

Он с каждым годом всё больше узнавал человека и все больше наглел.

Барс напал ночью, когда ружья чабанов были для него не страшнее простой палки.

Заблеяли, заметались в ужасе овцы, остервенело залаяли псы, со стуком покатались камни. Чабаны палили из ружей в тёмное небо и орали на все голоса.

Утром увидали: на дне оврага лежал Кара-Баш. Рядом стояла овца. Жёлтая шкура пса была красной. Он лежал на брюхе, уткнув морду в лапы. Овца стояла рядом и толкала его мордочкой в бок. Под передними лапами Кара-Баша лежал помятый барсом ягнёнок. Он был жив, но голова его плохо держалась на тонкой шее. Пёс прикрывал его своим телом.

Недалеко за кустом скрючился мёртвый барс. На белом горле его расплылось большое красное пятно. Он уже застыл. Кара-Баш был плох.

Вытек глаз. Разорвана губа. Прокушена и сломана нога. Вся шкура исполосована глубокими рваными бороздами.

Чабаны хотели пристрелить Кара-Баша, чтобы не мучился, но старик чабан не дал. Он взялся его выходить. Как когда-то в детстве, он стал поить его овечьим молоком. Собаки зализали ему раны. И Кара-Баш выжил.

* * *

Разговоры, разговоры — нет им конца! Уж и петух прокричал. Странно слышать петушиный домашний голосок тут, среди диких гор.

Чабан положил уголёк в самодельную трубочку и засопел.

— Якши собак! Хорош собак! — говорил он, пуская дым и щурясь в угол, где спал обезображенный пёс.

Кара-Баш спал беспокойно. Он то взвизгивал, то вдруг начинал сучить лапами. Он видел плохие сны.

— Другие псы совсем дурной — на чикалку^[1] брешут, — жаловался старик. — А Кара-Баш спит — значит, всё спокойно. Красивый собак!

Утром встали поздно. Старик чабан с собаками уже погнал стадо на выпас.

В углу сарайчика увидели мы пятнистую барсову шкуру. На шкуре котёнок катался — играл с ящерицей. По земляной крыше затопотала коза — сухая земля посыпалась на голову.

Мы вышли. Петушок взлетел на сарайчик, похлопал в крылья и, прокричав своё кукареку, склонил голову набок. Он прислушивался, откуда ему ответит соперник. Соперник ответил с высоких скал. Петушок поскрёб землю коготками и закричал опять. Он так и не понял, что отвечало ему только эхо.

Как весеннее курчавое облако, медленно ползла по гребню горы отара. Позади отары, покрикивая и посвистывая, шёл старик чабан. А впереди стада, опустив тяжёлую голову к земле, медленно брёл Кара-Баш.

Против солнца было больно смотреть. Кара-Баш казался окружённым сиянием. Издали не видно было его страшных шрамов. И огромный пёс был похож на могучего льва.

Я видел и чувствовал, как он красив!

Медвежья услуга

Самое неприятное при работе в горах — туман. Нахлынут облака, затопят ущелья, выползут на хребты и закроют всё: вниз до земли, вверх до неба.

Кажется, что весь мир утонул в глухом тумане: ни шума потоков, ни света солнца. Где право, где лево? Где север, где юг?

Сидишь в палатке и ждёшь погоды.

Вниз на базу спускаться не хочется: вдруг прояснит! Спускаться да подниматься не просто: на иную гору два дня на четвереньках лезешь.

Вот так и вышло у нас однажды. На день работы осталось, нахлынул туман. День просидели, — кончились консервы. На второй день — крупа. На третий доели сухари. Остались у нас одна соль, перец да лавровый лист.

А туман дразнит. Поредел, но не поднимается.

Ждать больше невтерпёж — так есть хочется. И вниз спускаться обидно: вот-вот туман разойдётся!

— Бери ружьё, — говорю я товарищу. — Поброди по склонам, может, подобьёшь что.

Товарищ ушёл, а я залез в палатку и попытался заснуть. Желудок хотел обмануть. Говорят: «Кто спит, тот обедает». Но желудок в горах на чистом воздухе на обман не идёт!

До полудня ворочался я с боку на бок. Потом встал, петь начал. «Может, — думаю, — про еду забуду».

Забудешь тут! Не ладится песня. Вместо песни голодное ворчание выходит.

А туман всё реже, всё реже. Уже вверху, в серой мгле, синие и жёлтые пятна проступили — значит, скоро откроются небо и солнце.

Вот чуть видные хребты стали надвигаться со всех сторон — так всегда кажется, когда расходится туман.

Вот и все горы видны — чистые, будто вымытые. И опять стал слышен шум потоков и засияло солнце. Работать можно, а товарища всё нет!

И есть так хочется, что стал я посматривать на сыромятные ремни от вьючного седла: а что если попробовать заварить их с лавровым листом да с солью?

На счастье, вижу: идёт товарищ. За спиной рюкзак раздулся — значит, добыл что-то. Он ещё далеко, а я кричу, выпытываю:

— Сколько патронов выстрелил?

Отвечает:

— Ни одного.

Опустились у меня руки.

— Так что ж ты, — говорю, — мешок-то травой набил, что ли?

— Ну да, травой, — отвечает.

— Ага, — говорю, — очень хорошо! Добавь тогда к своей траве ремешки от седла, объедение будет.

— И будет, даже и без ремешков.

Посмотрел я на него: уж не спятил ли он с голода?

Плюнул и пошёл к ручью: хоть воды напьюсь, лоб помочу.

Одно остаётся: скорей коней выучить — и вниз, на базу. Экая досада! И тумана нет, а спускаться придётся.

Поднимаюсь я к палатке и вижу: товарищ раздул огонь, поставил на костёр котёл с водой, а сам режет и чистит какие-то корни и стебли; у него их полный мешок.

— Это ты что затеял? — спрашиваю его осторожно.

— Борщ варю.

— Какой борщ?

— Медвежий.

— Ты не шути, — тихо говорю ему. — Я голодный!

— Тогда не кипятись, а мне помогай. Пока почистим, я тебе кое-что расскажу.



Я подсел помогать, а он мне рассказал вот что.

Утром в полукилометре от палатки наткнулся он на след старого медведя. След был такой свежий, что на мокрой траве висели ещё капельки грязи. Товарищ вложил в ружьё патроны с пулями и пошёл по примятой траве.

Медведь шёл по скату, переворачивая камни, раскапывал мышинные

норы и гнёзда земляных ос.

Долго лазал товарищ по скату в тумане, распутывая медвежий след. Из сил выбился.

Сел на камень, сорвал лопушок мягкий, как байковый, вытер лопушком пот и бросил. И вдруг видит, что рядом с его лопушком ещё сорванные лопушки валяются и измочаленные стебли-огрызки. А на огрызках и слюна зелёная не высохла. Медведь лакомился!

Совсем близко медведь, а товарищу не до него, так есть захотел. Сломал он такой же стебель, что медведь жевал, попробовал — ничего, даже огурчиком пахнет.

«Шут с ним, — думает, — с медведем! Где его в тумане найдёшь? Переключусь-ка я на медвежий корм, вон медведь какой с него здоровый — след шапкой не закроешь!»

Так и сделал. Найдёт огрызок, присмотрится, с какого растения, сорвёт, попробует — ничего, кисленько! — и в мешок. В одном месте корни какие-то раскопал медведь, — товарищ и корней набрал. Медведь-то старый, всё в лесу знает — всякую траву съедобную, каждый корешок.

Товарищ целый мешок кореньями, щавелём да стеблями набил.

— Сейчас такой борщ закатим — медвежий! — закончил он. И засыпал зелень в кипяток.

«Как бы нам только того, медвежьей болезнью не заболеть», — подумал я.

Но всё обошлось благополучно. Борщ и действительно вышел недурной. Заправили мы его солью, листом лавровым, перчиком и ещё три тетеревиных яйца разбили.

Медведь разорил на склоне тетёркино гнездо, а три яйца вниз скатились, он их не заметил.

Наелись мы медвежьего борща и сразу силу почувствовали. Хоть и не медвежьё силу, но достаточную для того, чтобы успеть до вечера подняться на вершину и сделать последние наблюдения.

Сторожа

На горном кочевье пропал бычок.

Весь вечер чабаны спорили, в каком лесном ущелье его искать. Одни стояли за Подгорную щель, другие за Низинную балку. А утром, когда чуть рассвело, они все вдруг согласно полезли вверх на высокие серые скалы.

Я подивился на чабанов и спросил, зачем они лезут вверх на скалы, если считают, что бычок внизу, в ущелье?

Старший чабан, дед Иван, ухмыльнулся в бороду и отвечал:

— А мы на сторожевую горку. У нас там сторожа посажены — за скотом следят.

Мне было интересно, и я полез с ними. Стоило посмотреть на сторожей, посаженных на такие высокие скалы.

Лезли мы долго. Скалы были ненадёжны. То и дело из-под рук и ног срывались камни, падали вниз, и не слышно было, чтобы они стучались о дно. Мне мешало всё: бинокль, патронташ, даже козырёк фуражки. Он задевал за стену и толкал в пропасть. Вниз лучше было и не смотреть: перехватывало дыхание, в кончики пальцев начинало покалывать будто иголкой, и сердце противно щемило.

На скалы лезли мы вдвоём с молодым чабаном. Лезли долго, наконец вылезли на скальный гребень и устроились на неширокой площадке. Видно отсюда было широко, как с самолёта.

Облака плыли ниже нас. Отары овец на альпийских лугах были похожи на белый песок, рассыпанный по зелёным склонам. Вверх тянулись синие дымки дальних кочевий. Горные галки — клушицы — кружили тоже ниже нас, и странно было смотреть на птиц не снизу вверх, а сверху вниз!

— Где же сторожа? — спросил я чабана.

— А вон дрыхнут, — указал он на недалёкую скальную вершинку и усмехнулся.

Я взялся за бинокль.

— Да это же не люди, это птицы! — воскликнул я, разглядев на вершинке огромных бурых птиц с белыми шеями. — Это сипы! Белоголовые сипы!

— А ты думал, — рассмеялся чабан.

Сипов было много. Одни из них лежали на земле в тени камней, как овцы. Другие дремали на солнце, тыкаясь в землю чугунными клювищами. Третьи распахнули огромные — в три метра — крылья и сушили их на

ветерке.

Сипы любят купаться у горных водопадов. Купальщики сидели не шевелясь и были похожи на гигантских бабочек. В тени их распахнутых крыльев, как под шатром, дремали стервятники — вечные спутники сипов. Некоторым сипам это почему-то не нравилось, они гонялись за стервятниками и, подскочив, старались ударить стервятника лапой по голове. Прогнав стервятников, они мирно паслись, пощипывая травку.

Но вдруг все сипы насторожились, вытянули белые шеи, сложили бурые крылья.

— Заметили, — шепнул чабан.

— Нас заметили? — спросил я.

Чабан рассердился:

— Нас они ещё вчера заметили! Сейчас разведчика своего заметили. Вон над Низинной балкой кружит.

Я вгляделся. Глубоко внизу, над узким лесным ущельем заметил чёрную точку. Точка падала вниз. Вот она скрылась в ущелье.

И тотчас сипы один за другим побежали вразвалку к краю скалы, стали прыгать вниз — и потянули к ущелью.



Над ущельем они сбились в стаю, закружили и, раскачиваясь на огромных крыльях, один за другим стали падать в тёмный провал.

— Нашли, падальщики! — хмуро сказал чабан. — В Низинной балке наш бычок, убился он. Хоть бы шкуру успеть снять!

И, запрокинув голову вверх, сложив из ладоней у рта трубу, чабан заорал:

— Оу! Бычок в Низинной!

«...в Низи-и-и-инной!» — загудело эхо в скалах.

А под скалой дед Иван, тоже, как сип, белоголовый, запрокинув голову и распутив по ветру бороду, заревел в сторону кочевья.

— ...в Низи-и-и-инной! — донеслось до нас.

С кочевья передали на другое кочевье, с того — через ущелье — дальше.

— В Низи-и-и-инной! В Низи-и-и-инной! — только и слышали мы. И всё тише, всё дальше.

Так весть дошла до Низинной балки. Там оказался колхозный *арбач* — тот, что подвозит на кочевья из колхоза продукты. Он развьючил коней, пустил их пастись, а сам пошёл по балке смотреть, что с бычком.

Мы слезли со сторожевой горки и уже сидели на кочевье, когда опять, от кочевья к кочевью, прилетел ответ.

Дед Иван разгрёб около уха волосы, приставил к уху ладонь.

Кочёвка была далеко, за ущельем, и крик оттуда был похож на писк комара. Но дед Иван слышал всё и передавал нам.

— Рожки, — передавал он, вслушиваясь, — да ножки!

Дед Иван усмехнулся:

— Не проглядят наши сторожа скотинку. И шкуру снять не успеешь!

Первый медведь

— Когда я убил первого своего медведя, я был так потрясён, что рыдал навзрыд, как маленький. Сетон-Томпсон говорит, что это неизбежно случается с каждым, кто убивает своего первого большого зверя.

(Из письма Виталия Бианки)

А мне повезло: после своего первого медведя я не плакал, а радовался. К охоте на медведя я готовился тщательно. Патроны заряжал свинцовыми пулями-кругляками.

Знаете ли вы, что значит заряжать патроны?

Заложишь в гильзу кругляк и задумаешься: какой случай ждёт тебя? Ждёт ли удача или позорный промах? И что такое удача охотника? Мясо? Шкура? Охотничья слава?

Я твёрдо решил добыть медведя. Окорока медвежьей, говорят, очень хороши. Да кому не лестно повесить над кроватью большую медвежью шкуру с огромными, как железные крючья, когтями!

«Вот этим свинцовым кругляком — зверю в лоб, между глаз. Или нет: лучше, когда повернётся, — под левую лопатку, в сердце. И шкура моя!»

Так думал я, поднимаясь к вершинам гор, где весной, на альпийских лугах, бывают медведи.

Зверя я нашёл на третий день на горе Аутль. Крутые склоны горы поросли корявыми берёзками и густыми кустами рододендрона. В бинокль был виден излом скал и каждый куст на нём. В узких лощинах лежал ещё снег.

И вот вижу, как через одну лощину, по снегу, медленно идёт большой жёлтый медведь. Щупает снег лапой: не обвалится ли? Нагнулся, лакает у закраины снега талую воду. Вот выбрался на отрожек. Лапой переворачивает камни, что-то под ними ищет. Поднял голову, принюхивается. Выскивает носом какую-то нужную ему струю ветра.

В воздухе — борьба струй. То потянет с гор холодом и сыростью, то пахнёт снизу парным духом цветов и трав.

Я впервые вижу медведя на воле. Глаз от бинокля не оторвать! Как не похож этот уверенный и мощный зверь на зоосадовских попрошаек!

Сейчас в лесу ещё голодно — ранняя весна, но этому медведю незачем

протягивать лапу за подачкой. Он всё знает, всё видит, всё чувствует. Ему ведомы все съедобные травы, питательные стебли и сладкие корни. Из этих крох собрал он свою чудовищную силу. Настоящий лесной знахарь!

Повернулся медведь — и холёная шкура его колыхнулась и блеснула, переливаясь на солнце, как ртуть.

Вспомнил тут я, зачем сюда пришёл. И опустил бинокль. Нелегко будет провести такого зверя! Я-то в горах гость, а ему горы — дом родной.

Вдруг медведь задом сполз в промоину — и пропал.

Я быстро — где пригнувшись, где на четвереньках — добежал до промоины и залёг на её краю.

Промоина была похожа на очень широкий и глубокий жёлоб. Он начинался у самой вершины горы, под серыми скалами, и кончался глубоко внизу, соединяясь с рекой. Со дна жёлоба тут и там выступали углы скал. За одним из таких выступов и укрылся медведь.

Сполз в жёлоб и я. Жёлоб так укатан камнями, что нога скользит, с трудом находит опору. Я боюсь дышать. Я просто не верю своему счастью. Я провёл лесного знахаря! Сейчас грохнет выстрел — и большая жёлтая шкура моя.

Вдруг у вершины горы, там, где скалы нависли над промоиной, раздался протяжный глухой гул. Будто гора охнула: «О-о-о-ох!»

Медведь разом вскинулся на дыбы. Завертел башкой.

Сверху — прямо на нас — по жёлобу с грохотом нёсся поток камней! Камни прыгали, как живые, вспахивали землю, поднимая тучи пыли, сшибались, высекая огонь!

Камнепад! Вода вверху подмыла скалу, и скала рухнула, рассыпавшись на тысячу кусков.

Медведь рванулся навстречу камням. Глупый зверь!

Я бросился к краю промоины.

Бешено цепляясь руками и ногами за траву и камни, пытался выскочить из предательского жёлоба. Но пучки травы обрывались, а камни выскальзывали из-под ног.

Я сполз назад в жёлоб. Тело обмякло. Конец... Убьёт, как медведя. И я глянул вверх — туда, где был зверь.

Но медведь не убит! Он спрятался, втиснулся под угол торчащей из жёлоба скалы.

Я оглянулся и в два прыжка заскочил под такую же скалу. И в тот же миг сверху грохнул в мою скалу первый камень. Ударил и, как снаряд на рикошете, взвыл и понёсся в воздухе. Грохотала и выла скала. Я оглох, я задыхался от пыли. Каменные брызги сквозь одежду секли тело.



Но всё реже и реже камни били в скалу. И вот уже с сухим шелестом ползёт один щецень.

Избитый, оглушённый, в пыли, вылез я из-под скалы. И только тогда ясно понял, что жив, что спасён. Спасён медведем!

Медведь тоже вылез из своего укрытия. Встряхнулся, как собака, подняв тучу пыли. И опять я увидел удивительный блеск его шерсти — будто колыхнулась и блеснула ртуть.

Хороша шкура!

Зверь был близко. Он стоял ко мне боком. Левая лопатка его была открыта для выстрела. Вот он повернулся и посмотрел на меня. Я ясно различил лунку между его дремучими лесными глазами. Сюда нужно целить, чтобы убить наповал.

Но выстрелить в медведя я не мог.

Так и не добыл я в этот раз ни мяса, ни шкуры, ни охотничьей славы.

Но зато и не плакал, а радовался. Добыл я себе то, что дороже всего на свете, — жизнь.

Вот это удача!

Два пёрышка

Шёл я ранним утром по склону горы. Вижу: летит очень крупная хищная птица, а какая — не понять. Цвет у птицы какой-то необыкновенный, изменчивый. То совсем черная станет, то вдруг вспыхнет, как золотая! А ухо моё привело меня в полное смятение: диковинный хищник непрерывно крикал голосом утки!

Стою и ни глазам своим, ни ушам не верю. Птица уже над головой.

Слышно, как в тяжёлых крыльях шумит ветер.

Не время гадать! Вскидываю ружьё. Слышу, как дробь хлестнула по жёсткому перу. Да разве такого проймёшь дробью!



Хищник рванул могучими крыльями, вспыхнул ярким золотым цветом — и пошёл ввысь. Только два пёрышка, выбитых дробью, падали вниз. Одно пёрышко плыло, качаясь, как лодочка; другое падало штопором. Я следил за ними и потерял из виду диковинную птицу. Как в сказке: улетела жар-птица, обронив пёрышки!

Только эти перья связывали меня теперь с тайной. Я поднял оба пера, и они, как в сказке, открыли мне всё.

Одно перо было рыжее, длинное и узкое, похожее на осенний листик ивы. Такие перья бывают только у одного хищника — у орла-беркута, и только на шее у него. Но беркуты бурого цвета, а хищник с голосом утки был то чёрным, то золотым!

В этот миг солнце выглянуло из-за горы, и окружающий мир стал двуцветным: горы, скалы, деревья, даже я сам. Всё, что осветило солнце, стало золотым, и всё, на что падала тень, — чёрным.

Всё понятно: когда летел орёл, солнце было ещё за горой, и граница света и тени проходила в воздухе, у меня над головой. Орёл то спускался в тень и тогда становился чёрным, то поднимался — и вспыхивал, как сказочная жар-птица.

Позже я часто наблюдал похожее. Забавно следить за такой игрой света с высокой горы! Вершины гор залиты солнцем, а в ущельях ещё прохладная тень, будто залиты они тёмной водой. Птицы летят над ущельем, то поднимаясь, то опускаясь, а сверху кажется, что из воды выпрыгивают, играя, золотые рыбы!

Тайну утиного голоса открыло второе перо. Это было «зеркальное» пёрышко.

«Зеркальцем» охотники называют блестящие пёрышки на крыльях уток.

Беркут скогтил на дальнем болоте утку, да неловко скогтил — утка была жива и отчаянно крякала в орлиных когтях. Орёл нёс утку к себе на гору, на излюбленный камень. Тут моя дробинка попала утке в крыло, а другая — орлу в шею. Оба пёрышка, одно блестящее, «зеркальное», и второе, похожее на осенний лист ивы, я вложил в пустую гильзу и отложил на память.

Желтоносый дуралей

Любопытно после выстрела взять в руки незнакомую зверюшку или птицу и подробно её рассмотреть. На воле-то не очень разглядишь: все спасаются, таятся, берегут свои пух и перо.

Много любопытных секретов из жизни птиц и зверюшек узнал я так. Так, однажды попал ко мне заяц с порванными ушами. Долго я гадал, кто порвал зайцу уши. Спасибо, старый охотник подсказал: орёл-беркут. Молодой был беркут, неловкий, вот и проловил. Когтищами не в спину, а в уши вцепился, рванул и распорол заячьи уши снизу доверху.

А однажды видел желну — чёрного дятла. Птица эта чёрная, как пихтовая головешка. Только на темени красное пятно, будто тлеющий уголёк. А у моего желны своё: на грудке белые пёрышки. Сам небось удивлялся, когда на досуге перебирал клювом белые пёрышки!

Как интересны такие находки!

Но однажды получилось вот что.

Из впадины на седловине горы, густо заросшей луговыми цветами, выскочил лисёнок, поджарый и остроморденький.

«Нельзя стрелять!» — успел подумать я, но не успел удержаться. Выстрел прогремел — и лисёнок завалился, подогнув голову, и забил рыжим хвостом с белым кончиком.

Шкурка у лисёнка никудышная, летняя. И интересного ничего в лисёнке не было, уж точно — ни пера с него, ни пуха! Видно, первый раз вышел на охоту один — и вот подвернулся под выстрел. Сидел бы уж лучше в норе, не высовывал свой нос...



Тут-то я и заметил, что нос у лисёнка особый, жёлтый, будто жёлтой мукой посыпан!

Мне приходилось видеть убитых лис с носом, испачканным землёй. Это было понятно: лисицы любят разрывать мышиные норы.

Но нос этого лисёнка был не в земле. Я провёл пальцем по лисьему носу, — жёлтая мука размазалась по щетинистой шёрстке. Дунул — взлетело жёлтое облачко. Понюхал я облачко — и всё понял.

Глупый лисёнок нюхал цветы! И весь нос свой любопытный вымазал жёлтой цветочной пылью. Звери ведь всё новое, что вокруг них, носом узнают: съедобное или нет, опасное или нет?

А для того лисёнка всё было новое: первый раз от тёмной норы ушёл. Со всем знакомился, а яркие, весёлые цветы, наверно, все подряд нюхал.

И как только я не удержался от этого глупого выстрела! Зачем убил этого желтоносого дуралея?

С тех пор я никогда не стрелял сгоряча. Ведь если убьёшь, ничего уж не поправишь.

Бегство цветов

Долину у высокой снеговой горы за безводье назвали Мёртвой. Мы пришли в долину в сумерках — ничего не успели разглядеть. А утром вдруг видим: по всей долине синие озёра в золотых берегах и холмы красных песков. Но глаза обманули нас. Не было в долине ни синих озёр, ни золотых песчаных берегов, ни красных холмов. Были цветы. В сырых впадинах синели незабудки. Они были такие яркие и такие синие, будто в них отразилось весеннее небо. Озёра незабудок окружили золотые лютики. А на сухих гривах горели маки. Маки были похожи на красные фонарики, зажжённые в зелёной траве. Их было много. Так много, что у нас начинало рябить в глазах и кружилась голова. Вот так мёртвая долина! Как хорошо!

— Плохо, — сказали чабаны, — мёртвая долина. Скоро всё сгорит от жары. Овцам нечего будет есть.

— И цветы сгорят? — пожалели мы.

Чабан прищурился:

— Цветы уйдут.

— Как уйдут? Куда?

— Нас поведут на новые пастбища.

Шутник чабан. Нашёл проводников...



Прошло несколько дней. И вдруг мы заметили, что цветы-то действительно пошли! Цветы стали подниматься в гору! Каждый день они поднимались всё выше и выше. Цветы уходили из Мёртвой долины. Цветы спешили!

Синими волнами, вверх по сырым лощинкам, выплеснулись незабудки. По скатам лощин поднимались жёлтые лютики. Будто среди жёлтых песков бежали синие ручьи.

Маки поднимались по гребням отрожков.

Всё злее жгло солнце. Всё выше и выше поднимались на гору цветы. Высока гора. Первыми стали отставать незабудки. Они поднялись до верхних родничков и окружили их бирюзовыми колечками. Но лютики и маки поднимались ещё выше.

Ночи стояли душные, жаркие. За горами металась зарница. Вершина горы из белой стала бурой — сошёл последний снег. Из бурой стала зелёной — покрылась травой. И, наконец, золотой — это на самую вершину поднялись первые лютики. А скоро среди зелени и лютиков зажглись красные фонарики — на вершину вскарабкались маки!

Вслед за цветами и травой потянулись в горы и отары белых овец. Они, как курчавые весенние облака, ползли по горным склонам.

А внизу в долине всё сгорело. Долина стала мёртвой.

Но мы смотрели на горы и радовались: там, наверху, сочные травы, красные цветы — большие будут курдюки у овец, душистое будет овечье молоко.

Сторожевые колокольчики

Солнце выжгло предгорья. А давно ли была тут зелень и ярким лиловым цветом цвёл колючий бурьян.

Сейчас над выжженной землёй нависла раскалённая белая мгла.

Всё обманчиво в этой белёсой мгле. Кустик травы вдруг шевельнётся, да и обернётся лисичкой, поджарой и быстрой. Колючий бурьян выше пояса, а тронешь, и бурьян бесшумно рассыплется в прах.

То видишь озеро, по озеру торопятся беспокойные волны. Ствол одинокого деревца извивается в жарком мареве, будто не деревцо это, а его отражение в беспокойной воде.

Но воды тут нет.

Всё сгорело: трава, бурьян, даже цепкие и живучие кусты держидерева. Вокруг камень, пыль, смерть. И миражи.

Вон за каменистым гребешком целые заросли высоких белых цветов! Цветы такие свежие и такие яркие, что, кажется, пахнут.

Прикрыв ладонью глаза от нестерпимого блеска солнца, я молча смотрю на чудесный мираж. Сейчас колыхнётся жаркая мгла и видение растает.

Но нет, цветы не пропадают! На дальнем краю цветочной поляны вдруг звякнул колокольчик. Ему ответил другой. Вот опять.

Звяканье всё ближе. И впереди этого ползущего к нам глухого непонятого звона один за другим выпархивают хохлатые жаворонки. В панике, с испуганным посвистом вырываются они из белых цветов. Вслед за жаворонками, заложив уши за спину, шарахнулись из цветов два ополоумевших от страха зайчонка и скрылись.

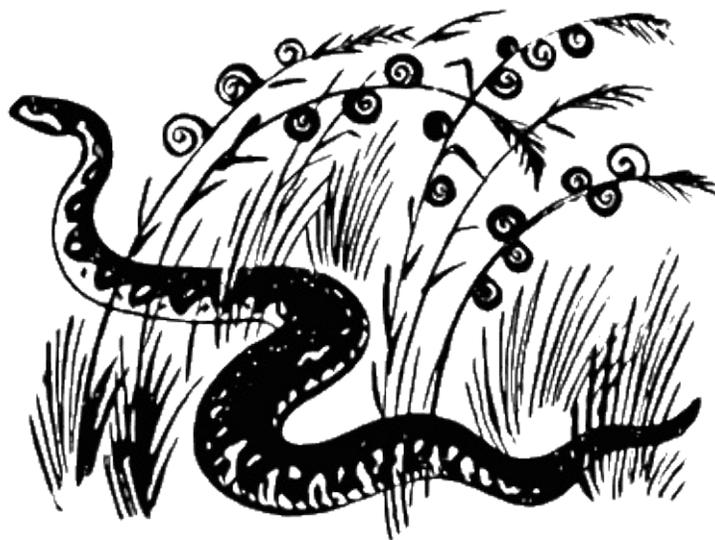
Это уж не мираж!

И жаворонки, и зайчата настоящие. Ишь сколько их собралось сюда в цветы! Видно, в голой-то степи не по вкусу!

А звон всё ближе. И совсем он не страшный: тихий, ласковый и какой-то глухой, костяной. И чего так зайчата и птицы шарахаются от него?

Звон совсем близко. Вот дрогнули крайние цветы, и звон оборвался. Из зарослей медленно вылилось длинное тело серой змеи.

— Полоз!



Полоз потянулся вверх, поднял голову выше цветов и стал смотреть в ту сторону, куда улетели жаворонки и ускакали зайчата.

Я шевельнулся. Змея медленно повернула голову в мою сторону, облизала сухие чешуйчатые губы раздвоенным языком и, повернувшись, лениво уползла обратно в бурьян. И опять я услышал — теперь удаляющийся — звон, будто цветы были костяные, а их сталкивала друг с другом быстрая струйка ветра.

Как зачарованный, слушал я этот непонятный звон. Мираж и действительность — всё перепуталось.

Опомнился я только тогда, когда звон стих — там, на дальнем конце лощины. Только после этого спустился я к необыкновенным цветам.

Цветы и вправду оказались необыкновенными. Высокие стебли засохшей травы были густо облеплены ракушками. Тысячи улиток с белыми раковинами вползли на них, приклеились и повисли белыми гирляндами. От жары они впали в летнюю спячку.

Тронешь такой цветок — ракушки ударяются друг о друга и звякают. Полз полоз, задевал сухие стебли — и над ним звякали костяные колокольчики. Звенели нестрашно, глухо, но зайчата и птицы знали: страшный приближается враг.

Всё стало ясно.

В голой степи, в жарком мареве, сейчас всё неверно. Виден куст, а это лиса. Жаркий ветер шуршит по сухой земле, а может, змея тянет своё тело?

Зайцы с ног сбились, спят с открытыми глазами. Жаворонки на землю боятся присесть.

Вот и собрались они сюда, в сухой бурьян, увешанный ракушками.

Тут уж никто неслышно к ним не подтаится. Тут без обмана: только

хищник спустится в лощину, тотчас зазвонят сторожевые колокольчики!
Улетайте, жаворонки! Удирайте, зайчата! Враг рядом!

Лесные тайнички

Лес густой, зелёный и полон шорохов, писков, песен.

Но вот вошёл в него охотник — и мигом всё спряталось и насторожилось. Как волна от брошенного в воду камня, покатилась от дерева к дереву тревога. Все за кусток, за сучок — и молчок.

Теперь хочешь увидеть — сам стань невидим; хочешь услышать — стань неслышим; хочешь понять — замри.

Я это знаю. Знаю, что из всех лесных тайничков следят за мной быстрые глаза, влажные носы ловят бегущие от меня струйки ветра. Много кругом зверьков и птиц. А попробуй — найди!

Я пришёл сюда повидать сплюшку — крохотную, со скворца, сову.

Целые ночи она, как заведённая, кричит своё: «Сплю! Сплю! Сплю! Сплю!» — будто лесные часы тикают: «Тик! Так! Тик! Так!..»



К рассвету встанут лесные часы: сплюшка смолкает и прячется. Да так ловко прячется, будто её никогда в лесу и не было.

Голос-то сплюшки — ночные часы — кто не слышал, а вот какая она на вид? Я знал её только по картинке. И так мне захотелось увидеть её живьём, что я целый день пробродил по лесу, каждое дерево, каждую ветку осматривал, в каждый куст заглядывал. Устал. Проголодался. Но так и не нашёл её.

Сел на старый пенёк. Молчу, сижу.

И вот, глядь, откуда ни возьмись — змейка! Серая. Плоская головка на тонкой шее, как почка на стебельке. Выползла откуда-то и глядит мне в глаза, будто чего ждет от меня.

Змейка — она пролаза, должна всё знать.

Я ей и говорю, как в сказке:

— Змейка, змейка, поведай мне, где спряталась Сплюшка — лесные часы?

Змейка подразнила меня язычком да юрк в траву!

... И вдруг, как в сказке, открылись передо мной лесные тайнички.

Длинно-длинно прошуршала в траве змейка, показалась ещё раз у другого пня — и вильнула под его обомшелые корни. Нырнула, а из-под них вывернулась большая зелёная ящерица с синей головой. Точно кто-то вытолкнул её оттуда. Прошуршала по сухому листу — и шмыг в чью-то норку.

В норке другой тайничок. Хозяйкой там тупоморденькая мышка-полёвка.

Испугалась она синеголовой ящерицы, выскочила из отнорка — из темноты на свет, — заметалась-заметалась — и шасть под лежащую колодину!

Поднялся под колодиной писк, возня. Там тоже оказался тайничок. И целый день спали в нём два зверька — сони-полчки. Два зверька, похожие на белочек.

Выскочили из-под колодины сони-полчки, ошалели от страха. Хвосты ершом. Взвинтились по стволу. Поцокали — да вдруг опять им страшно стало, ещё выше по стволу винтом кинулись.

А выше в стволе — дупло.

Сони-полчки хотели в него — и сшиблись у входа лбами. Пискнули от боли, кинулись опять обе сразу — да так вместе в дупло и провалились.

А оттуда — фык! — маленький дупляной чёртик! Ушки на макушке, что рожки. Глаза круглые, жёлтые. Сел на сучок, спиной ко мне, а голову так завернул, что смотрит на меня в упор.

Конечно, не чёртик это, а Сплюшка — ночные часы!

Я моргнуть не успел, она — раз! — и в листву.

И там завозилось, запищало: тоже кто-то таился.

Так, от дупла к дуплу, от норки к норке, от колоды к колоде, от куста к кусту, от щели к щели шарахается от страха лесная мелюзга, открывая мне свои ухороночки-тайнички.

От дерева к дереву, от куста к кусту, как волна от камня, катится по лесу тревога. И все прячутся: скок-скок за кусток, на сучок — и молчок.

Хочешь увидеть — стань невидим. Хочешь услышать — стань
неслышим. Хочешь узнать — затаись.



Лесное время

Время лесное не торопкое...

В щели зелёного потолка пробились синие лучи. От них на тёмной земле лиловые ореолы. Это солнечные зайчики.

Один зайчик лежит рядом со мной; он чуть шевелит ушами. Над ним тихое матовое сияние. Вокруг сумрак, а там, где зайчик, видна на земле каждая еловая иголка, каждая жилка на упавшем листе. Под зайчиком серое поленце с чёрными трещинами. А на поленце — змея. Будто кто-то выдавил не жалея из толстого тюбика густую бурую краску; краска легла тугими извивами и застыла. Сверху крохотная головка со стиснутыми губами и с двумя колючими искорками-глазами.



Всё тут внизу неподвижно и тихо. Кажется, время остановилось.

А наверху, над зелёным лесным потолком, катятся голубые волны ветра; там небо, облака, солнце. Солнце медленно плывёт на запад, а солнечный зайчик по земле ползёт на восток. Я это вижу по тому, как тонут в тени пригладевшиеся листики и соринки и как выступают с другой стороны тени новые травинки и палочки.

Луч солнца как стрелка лесных часов, а земля с палочками и соринками — лесной циферблат.

Но почему же змея не тонет в тени, как получается так, что она всё время в центре сияющего овала?

Лесное время дрогнуло и остановилось. Я напряжённо вглядываюсь в

извивы упругого змеиного тела: они движутся! Двигутся чуть заметно, навстречу друг другу; я замечаю это по зубчатой полоске на змеиной спине. Тело змеи чуть пульсирует: то оно расширяется, то спадает. Змея невидимо передвигается ровно настолько, насколько передвигается солнечное пятно, и потому постоянно находится в центре его. Тело её — как живая ртуть.

Двигается в небе солнце, движутся по всей огромной лесной земле крохотные пятна солнца. И вместе с ними движутся во всех лесах сонные змеи. Двигутся медленно, незаметно, как медленно и незаметно движется ленивое лесное время. Двигутся как во сне...

Неслух

Медведицы строгие матери. А медвежата неслухи. Пока ещё сосут — сами сзади бегают, в ногах путаются. А подрастут — беда!

Да и медведицы сами со слабинкой: любят в холодке подремать. А весело ли медвежатам слушать их сонное сопение, когда кругом столько заманчивых шорохов, пискон, песен!

От цветка к кусту, от куста к дереву, — и забредут...

Вот такого неслуха, удравшего от матери, я однажды и встретил в лесу.

Я сидел у ручья и макал сухарь в воду. Был я голодный, а сухарь был жёсткий, потому трудился я над ним очень долго. Так долго, что лесным жителям надоело ждать, пока я уйду, и они стали вылезать из своих тайников.

Вот вылезли на пенёк два зверька-полчка. В камнях запищали мыши, — видно, подрались. И вдруг на поляну выскочил медвежонок. Медвежонок как медвежонок: головастый, губастый, неловкий.

Увидел медвежонок пенёк, взбрыкнул курдючком — и боком с подскоком прямо к нему. Полчки — в норку, да что за беда! Медвежонок хорошо помнил, какими вкусными вещами угощала его мать у каждого такого пня. Успевай только облизываться!

Обошёл мишка пенёк слева — никого нет. Заглянул справа — никого. Сунул нос в щель — полчками пахнет! Вылез на пенёк, поцарапал пенёк лапой. Пенёк как пенёк.

Растерялся мишка, притих. Оглянулся кругом.

А кругом лес. Густой. Тёмный. В лесу шорохи.

Слез мишка с пня — и потрусил дальше.

На пути камень. Повеселел мишка: дело знакомое! Подсунул лапу под камень, упёрся, нажал плечом. Поддался камень, пискнули под ним испуганные мышенята.

Бросил мишка камень — да обеими лапами под него. Поторопился: камень упал и придавил мишке лапу. Взвыл мишка, затряс больной лапой. Потом полизал, полизал её — да и похромал дальше. Плетётся, по сторонам больше не глазет, под ноги смотрит.

И видит: гриб. Пуглив стал мишка. Обошёл гриб кругом. Глазами видит: гриб, можно съесть. А носом чует: плохой гриб, нельзя есть! И есть хочется... и страшно!

Рассердился мишка — да как треснет по грибу здоровой лапой!

Лопнул гриб. Пыль из него фонтаном жёлтая, едкая — прямо мишке в нос.

Это был гриб-пыхтун. Зачихал мишка, закашлял. Потом протёр глаза, сел на задок и завыл тихо-тихонечко.

А кто услышит? Кругом лес. Густой. Тёмный. В лесу шорохи.

И вдруг — плюх! Лягушка! Мишка правой лапой, — лягушка влево. Мишка левой лапой, — лягушка вправо.

Нацелился мишка, рванулся вперёд — и подмял лягушку под себя. Зацепил лапой, вытащил из-под брюха. Тут бы ему и съесть лягушку с аппетитом — первую свою добычу.

А ему, дурачку, только бы играть.

Повалился на спину, катается с лягушкой, сопит, взвизгивает, будто его под мышками щекочут.

То подкинет лягушку. То из лапы в лапу передает. Играл, играл, да и потерял лягушку.

Обнюхал траву кругом, — нет лягушки. Так и брякнулся мишка на задок, разинул рот, чтоб заорать, да и остался с открытым ртом: из-за кустов на него глядела старая медведица.



Медвежонок очень обрадовался своей мохнатой мамаше; уж она-то приласкает его и лягушку ему найдёт.

Жалостно скуля и прихрамывая, он потрусил ей навстречу. Да вдруг получил такую затрещину, что разом сунулся носом в землю.

Вот так приласкала!

Обозлился мишка, вскинулся на дыбки, рывкнул на мать. Рывкнул — и опять покотился в траву — от оплеухи.

Видит, плохо дело! Вскочил — и бегом в кусты.

Медведица за ним.

Долго слышал я, как трещали сучья и как рявкали медвежонок от мамашиных затрецин.

«Ишь, как уму да осторожности его учит!» — подумал я. Убежали медведи, так меня и не заметили. А впрочем, кто их знает?

Кругом лес. Густой. Тёмный. В лесу шорохи.

Лучше уйти поскорей: ружья-то у меня нету.

Весёлый городок

Это был совсем юный городок. Его строили в южном лесу. Это было как война: городок наступал на лес, лес — на городок.

По вечерам вокруг фонарей крутилось белое облачко ночных бабочек и мелькали чёрные летучие мыши. Щелчок, хруст — и вниз падают, сверкая, узорные бабочкины крылья. Когда поднималась луна, из зарослей выходили шакалы. Их крики — вой, стоны, охи и ахи — были слышны в каждом домике. Все городские собаки в ответ поднимали неистовый лай. Днём посреди шоссе рассаживались молодые длинноногие цапли, и шофёры осторожно объезжали их, гудя, как на перекрёстке. На улицах шофёры объезжали черепах, которые медленно ковыляли, нарушая правила движения. В комнаты заползали змеи. Скорпионов находили по утрам в сапогах и под подушками.



Было уже в городке и кино.

И вот мы идём в кино. При входе видим: на киноафише сидит сова и, щуря глазищи от яркого света, глядит вниз на людей! Я подкинул шапку — сова взметнула крыльями.

Начался сеанс. Погасили свет. С экрана — музыка и песня. И вдруг, заглушая музыку, песню и шум в зале, затрещала цикада! Цикада — это большая муха с жёсткими, «поющими» крыльями. Крыльями этими она трёт о щетинки на теле — и трещит по ночам на весь лес.

Зрители зашикали, зашумели. А другие засмеялись и захлопали в ладоши. Сеанс прервали. Включили свет. Цикада смолкла.

Но как только свет погасили, цикада затрещала опять. Запела свою любовную песенку, которую поёт она всегда в темноте. Раньше, в лесу, эта песня никому не мешала.

Ничего не слышно. Один треск. Даже выстрелов экранных не слышать! Опять зажгли свет. Длинными шестами с веником на конце стали шарить по потолку и углам. Цикада смолкла.

Погасили свет, пустили кино, — цикада запела!

Зрители затопали ногами, засвистели, задвигали стульями. Цикада затрещала изо всех сил — во все крылья. Она не привыкла, чтобы по ночам кто-то шумел громче её.

Зажгли свет. Вышел директор и беспомощно развёл руками. Зрители стали расходиться.

Вышли и мы.

У кино бегали ребятишки. У каждого в кулаке зажата цикада. Когда ребята трясут над головой кулаками, в кулаках цикады трещат весело и звонко, как погремушки.

Губы у ребят до ушей измазаны жёлтой цветочной пылью. В руках у ребят букеты цветов. Они их едят, — это съедобные цветы. А растут эти цветы прямо тут — вокруг домов и по обочинам тротуаров.

Весело в городке!

Вкусно!

Бегут кусты перекасти-поля

Пусто в степи — ни зверя, ни птицы. Голо в степи — трава давно выжжена солнцем. Зато есть где разогнаться осеннему ветру!

Вихри, визжа и подвывая, как стая псов, гонят перед собой лёгкие шары — перекасти-поле.

Шары бегут наперегонки, подскакивают, сталкиваются и, сцепившись, катятся кучей. Подхваченные смерчем, вздымаются ввысь; вдруг падают, распадаются и опять бешено мчатся на край степи, где земля сливается с мутным небом.

За серым камнем залёг старый дрофич. Дудак-дрофа самая крупная птица степи, весом с пуд — настоящий степной великан. Старый дрофич, как олень-одинец, отбился от своей стаи и кочует теперь один по всей широкой равнине. Такой сумеет себя охранить, ни зверь к нему не подтаится, ни человек. Зоркий. И всё в степи знает.



Вот в мутной дали среди бегущих шаров перекасти-поля показалось серое пятнышко, не различишь, что это. А старый дрофич настороже; это за ним собрался охотник. Охотник будет медленно подвигаться в арбе, запряжённой неповоротливыми волами, будто он мимо, по каким-то другим заботам, а на самом деле упорно и незаметно приближаясь и приближаясь к камню, за которым залёг дрофич.

Старик не стал дожидаться арбы, встал на ноги и, разогнавшись, тяжело поднялся на воздух.

Полетел он не прямо от арбы; в той стороне, куда она направлялась,

могла лежать цепь охотников. Старик полетел в сторону и летел до тех пор, пока арба не пропала с глаз.

Тогда он опустился к земле, высматривая себе камень, приземлился и спокойно залёг за него с подветренной стороны.

* * *

Пусто в степи. Голо в степи. Одни только лёгкие шары перекаати-поля с шорохом бегут и бегут мимо.

Песчинки, большие и маленькие, бьют в камень. Камень звенит. Звон тихий, ласковый, чуть слышный. И вдруг сердитый, тревожный.

Дрофич поднял седую усатую голову и смотрит в степь. Бегут и бегут кусты перекаати-поля. Одни проносятся сбоку, другие перескакивают через камень. Вдали несколько лёгких кружевных шаров сгруппировались в тёмную кучу, и куча, медленно переваливаясь, катится к камню. Дрофич снова опускает голову, прижимается к земле и дремлет.

Вот в другой раз дрофич поднял голову: всё так же бежали по степи лёгкие шары, всё так же медленно переваливалась тёмная груда кустов перекаати-поля; только теперь она была совсем близко.

Зорче оленьих глаза у старого дрофича. Далеко-далеко примечают они врага.

Слух дрофича не уступит оленьему слуху. Хоть уши его и скрыты под перьями, но далеко слышит он в траве даже мышинный писк.

Вот бы тебе, дрофич, ещё тонкий олений нюх! Подкатила по ветру тёмная груда кустов к самому камню, вдруг отвалилась в сторону, а перед дрофичом охотник стоит! И уж ружьё к плечу поднял.

Невидимый за тёмной грудой кустов, неслышный в шуршащей степи, подтаился он вплотную к строгому степному великану. Был бы у тебя, дрофич, олений нюх, давно бы зачуял ты крадущегося охотника!

Джейранчик

Волка ноги кормят. А вот джейрана ноги спасают.

Джейраны — быстрые газели — живут в сухих южных степях. Много у джейранов врагов: и человек, и волк, и даже орёл. А спасенье одно — ноги.

Вихрем носятся джейраны по степи. Кажется, что это не звери бегут, а птицы летят. Только пыль завивается из-под крепких копыт! Тут уж и волка ноги не прокормят!



Нет у джейраньей степи ни конца, ни края. На своих на двоих не скоро её перешагаешь. Но я еду верхом.

Еду, посвистываю. И вдруг — стоп! Коняшка под ноги глазом косит. У копыт его кротовина — кучка жёлтой сухой земли. А конь ноздри раздул, ушами прядёт — и ни с места.

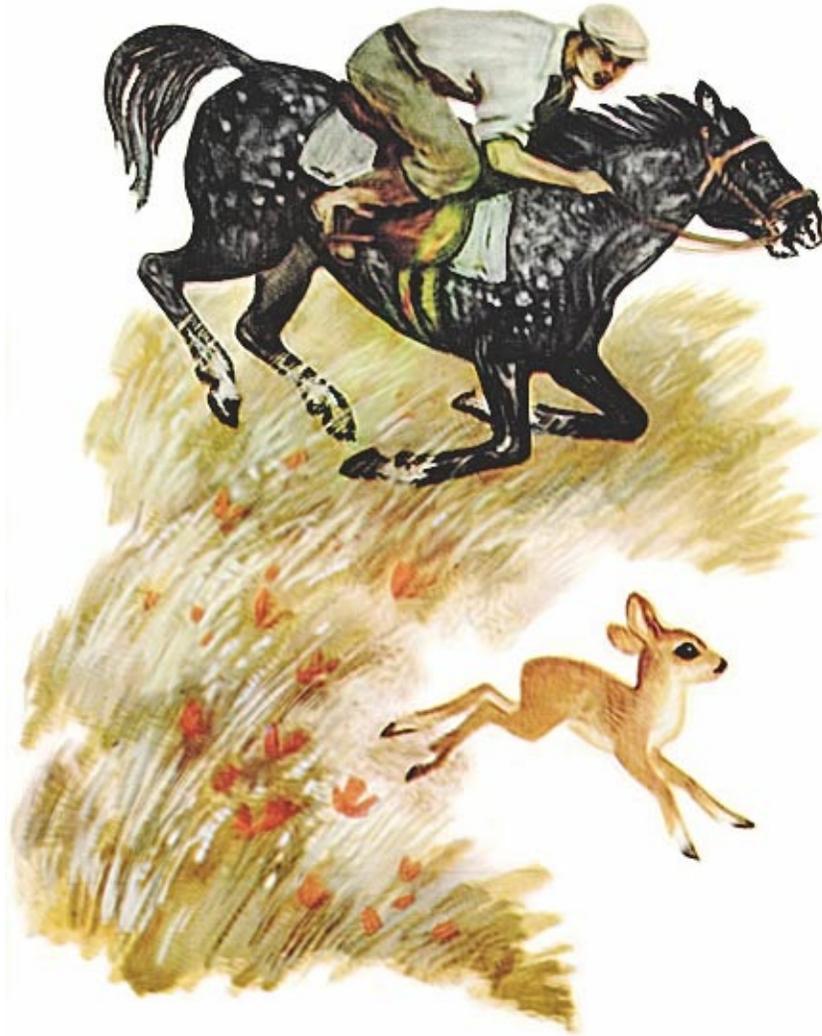
Вгляделся я: да это совсем не кротовина, это джейранчик! Прижался к земле, замер и дышать перестал.

Джейранчик крошечный, с зайца. Он недавно родился. Лобик у него крутой и вместо рожек — пупырышки. А ножки тонкие-тонкие и длинные-длинные. Ненадёжные ножки. И щуплый — рёбрышки на боках проступают. Одна надежда на шкурку-невидимку. А шкурка и впрямь невидимка: не отличишь от степной земли. Тут и орлиный глаз обманется. Но человек не птица, его на кротовине не проведёшь.

Соскочил я с коня и протянул к джейранчику руку. А он как вскочит на тонкие ножки, как вытаращит на меня чёрные глазёнки, как ударит

копытцем в землю, — пыль фонтаном! И — ходу. Я за ним. Куда там! Летит как птица.

— Ах так! — рассердился. — На своих на двоих не догоню, — на четырёх лошадиных настигну!



Вскочил на коняшку, стиснул ему каблуками бока. Взвился конёк, замоталась по ветру конская грива, захлестала меня по лицу. Вмиг догнал я джейранчика. А он — бух! — и с ног! Запал, затаился. И глаза закрыл: глаза-то у него большие, блестящие — очень заметные. И опять стал как кротовина.

Перегнулся я с коня, тянусь — нет, не достать!

Соскочил с коня — джейранчик бежать!

Я на коня — джейранчик на землю!

Подъеду к нему, ловчусь, — нет, не дотянуться! Коняшка боится на него наступить и близко не подходит. А соскочу — он ходу!

Не видно конца нашей гонке: бегом не догнать, с коня не достать.

Смотрю я на джейранчика сверху и дивлюсь: мал, а хитёр! Видно, у джейранов спасение-то не в одних только ногах. И голова что-нибудь да стоит. Даже если на этой голове вместо рожек ещё только пупырышки.

Да не век же мне над ним торчать! Взбодрил я каблуком коняшку — и потрусил мы своей дорогой. Еду, посвистываю. А что мне осталось делать?

Крик

Я шёл по степи и вдруг увидал двух лис. Они как два жёлтых коромысла: спина дугой, нос и хвост к земле. Одна покрупней и с серой гривой, вторая маленькая, светло-светло-рыженькая. Кружат лисы по бурьяну за большим камнем и меня не замечают.

Выстрелил я навскидку. Рыжая взмахнула хвостом с белым кончиком, как белым платочком, и легла на землю. Серая недоуменно подняла мордочку с серыми баками, увидела меня и не спеша потрусила в степь. За бурьяном она не заметила, что рыжая лиска осталась.

Выстрел был удачным — одна картечина угодила лисе прямо в глаз. Зверёк был убит наповал. Ветерок гладил нежную шелковистую шёрстку.

Обрадованный хорошим началом, я быстро связал у лисицы лапки, перекинул её через плечо и зашагал дальше.

Но дальше мне не повезло. Зря пробродил дотемна; не только ничего не подстрелил, но и никого больше не увидел.

Возвращался я уже ночью. Ночь была душная. Над горизонтом нависла чёрная туча, за ней металась жёлтые зарницы. Но над головой сверкал чистый и светлый Млечный Путь — как бесконечная дорога.

Я шагал и шагал, и моя дорога на земле казалась мне такой же бесконечной, как Млечный Путь.



Степь и ночью была полна жизни. Ухо охотника всегда настороже. Вот мягкий шорох над головой — и будто кто-тодохнул в лицо. Это над самой

головой взмахнула мягкими крыльями сова. Вдруг отчаянный вскрик. Кто-то оплошал и попал кому-то в зубы.

Для охотника всё это привычно и знакомо — обычные звуки обычной ночи в степи. Звуки погони, схватки, борьбы. Шорох крадущихся шагов, шёпот сухой травы, цокот камня. И я тут — охотник с твёрдым сердцем и жёсткой рукой — как у себя дома.

Но вдруг звук совсем необычный заставил меня насторожиться. Кто-то хрипло кричал вдали: «Кгха, кгха, кгха!»

Это не был клич зверя-победителя. Но не был это и безнадёжный крик жертвы. Зверь кричал неприятно, тоскливо, нудно и бесконечно. Всякий зверь скуп на голос и зря не станет кричать. Это древний звериный закон. Этот зверь нарушил закон, он потерял всякую осторожность.

Я шёл, а невидимый зверь всё сидел на одном месте и тьявкал уныло и хрипло, будто ему сдавило горло. Я потрогал ружьё и пошёл прямо на крик: не пропускать же удобный случай!

Всё ближе и ближе подходил я к кричащему зверю. Из-за гор поднималась луна. Из-за камней, кустов, бугров стали выползать чёрные тени; казалось, ночь протягивает навстречу чёрные руки. В неровном зелёном мерцании, как сквозь воду, разглядел я впереди на чистинке маленькое чёрное пятнышко. Тьявканье несло отсюда.

Что-то знакомое показалось мне в этой чистинке и в этих тенях. И вдруг я узнал это место! Вот высокий бурьян, вот камень, за ним лощинка. Здесь днём я подстрелил лису. И сразу за первой догадкой пришла вторая: я понял, что за зверь тьявкал сейчас тут, потеряв всякую осторожность!

Запрокинув тонкую мордочку вверх, распушив густые баки, тьявкал охрипшим голосом осиротевший лис, тот самый, что днём убежал от меня в степь.

Он сидел как раз на том месте, где я днём связывал лапки у мёртвой лисы.

Маленьким, жалким комочком казался лис под огромным холодным небом в необъятной степи. И жалкий его голосок — не вой победителя и не писк жертвы — был здесь ни к месту и странно тревожил душу. Разве не удивительно — жалоба зверя! И выражение «звериная тоска» вдруг наполнилось для меня особым значением.

Я постоял, послушал, потом потрогал своё ружьё и зашагал своей дорогой. Нет, это не удачный случай для охотника, даже если у него твёрдое сердце и жёсткая рука.

Далеко я ушёл, но стоило остановиться, приложить к уху ладонь — и становилось слышным приглушённое хриплое тьявканье. Лис всё сидел и

тявкали.

Но вот совсем стихли непривычные звуки. Опять вокруг ночная степь, слышится то довольное ворчание, то отчаянный писк. Над головой чёрное небо и белая луна. А впереди дорога, неясная и бесконечная, как Млечный Путь.

В кяризе

Вторые сутки идём, не поднимая головы. Вторые сутки топчем свою тень. Утром эта тень нелепо длинна. К полудню она становится всё короче и короче, пока, наконец, совсем не спрячется под подошвами широких ботинок. Это значит, что раскалённое белое солнце пустыни остановилось в зените и льёт на истомлённую землю расплавленную лаву лучей. На висках вздуваются вены. Начинает мутиться сознание.

Воды!

Воды! Какой угодно: мутной, зелёной, вонючей!

Но воды никакой нет.



Разве может сохраниться хоть капля влаги на земле, выжженной солнцем и превращённой в пыль? Земля эта жжёт ноги даже сквозь толстую подошву ботинок.

Вторые сутки над головой белое от зноя небо. А под ногами пухлая пыль. На горизонте шевелится синее и зелёное марево. В нём угадываешь то волны моря, то далёкие заросли тростников.

Но мы знаем: нет впереди ни моря, ни зелёных оазисов. Это мираж.

Был на карте родник, на который мы очень надеялись. Мы нашли этот родник. Но вода в нём оказалась горько-солёная.

И вот опять — три человека и два мула — плетёмся к далёкому мареву, тупо ступая след в след. Сухая кожа натянулась на скулах. Белые губы потрескались, и в трещины набилась чёрная пыль.

Пыль глушит шаги. И кажется, что мы не идём, а беззвучно, подобно миражам, плывём над раскалённой землёй. Начинает закрадываться жуткое

чувство безнадёжности, бессилия перед этой мёртвой пустыней.

Вдруг наш проводник, нелепо взмахнув руками, бросился в сторону. Пробежал с полсотни шагов и упал, уткнувшись лицом в песчаный холмик.

— Ну вот, один спятил!

Но вдруг и мулы, взбрыкнув копытами, поскакали туда же и остановились возле лежащего проводника. Мы подбежали к ним.

Проводник лежал на животе, свесив голову в чёрную дыру в земле. Мулы нетерпеливо топтались вокруг осыпая копытами песок.

— **Кяриз**, — тихо проговорил проводник и сел. — Вода.

— Вода! — вдруг заорал он и, вскочив, стал быстро развьючивать мулов.

Кяриз! Я слышал о кяризах. Кяризами называют глубокие колодцы, прорытые скотоводами над подземной рекой. Из таких колодцев достают воду ведром, привязав его к длинной верёвке.

Все наши верёвки мы связали в одну. Привязали ведро и опустили в колодец. Колодец оказался очень глубоким — метров пятнадцать. Но воды в подземной речке было мало. Ведро зацепило лишь немного жижи с песком.

Тогда решили сами спуститься в кяриз. Я обвязался верёвкой и сполз в чёрную дыру.

Упираюсь руками в стены. На голову сверху сыплется песок. Светлый круг над головой суживается. Стены колодца становятся холодными и сырыми.

Внизу темно. Журчит вода. Всматриваюсь, ничего не видно.

Наконец чувствую: ноги в воде. Дно. Воды по щиколотку. Нагибаюсь и, зачерпывая ладонью, пью, пью и пью. Как здорово — вода!

Вдруг кто-то мокрыми лапами зашлёпал по воде. Я замер. Вслушиваюсь, сдерживая дыхание. Но слышу только стук своего сердца. Чиркнул спичку. Спичка стрельнула и погасла. При вспышке замечаю: стою в пещере. На дне пещеры дрожит вода.

Опираюсь рукой о стену. Стена мокрая и слизкая. Ставлю ведро на дно и банкой наливаю в ведро воду.

И тут вдруг опять зашлёпало, заплескало, будто огромная многоножка побежала по воде!

Быстро зажёл спичку. Спичка ярко вспыхнула... Пламя спички отразилось в десятках немигающих глаз!

В чёрной воде, выпучив подводные глаза, неподвижно сидели лягушки, жабы и черепахи. На стенах пещеры шевелились змеи. Их глаза вспыхивали, как летучие светляки.



Лягушки и жабы от голода превратились в скелеты, обтянутые слизкой кожей. Они пробрались в эту пещерку подземными ходами из ближайшей реки и застряли тут, обречённые на голодную смерть. А черепахи и змеи сорвались сверху.

Их глаза горели голодным огнём.

Сейчас спичка погаснет, и эти мокрые твари, шлёпая и извиваясь, ползут на мои ноги!

Я не знаю, что делать.

Огонь парализовал обитателей колодца. Страх парализовал меня.

Что-то дёрнуло за пояс. Верёвка!

Схватив полное ведро, я дёргаю верёвку изо всех сил. Верёвка потянула меня наверх, песок посыпался на голову.

И вот я наверху. Жара, а меня бьёт озноб. Я лёг на песок, уткнувшись лицом в ладони. Перед моими глазами проплывают самые страшные видения пустыни: жара, безводье, обманчивые миражи... Но всё это меркнет, всё бледнеет перед этим колодцем. Сейчас я заглянул в иной мир. Мир, в котором умеющие ползать, извиваться, хватать и кусать были ещё сильнее человека. А что может быть страшнее этого?

Без меня, кое-как приспособясь, доставали ведром воду для мулов. Без меня мылись, обливая водой спины и головы. Без меня собрали вещи и навьючили седла. Когда тронулись, я встал и побрёл позади каравана.

Сам карусель

Средь жёлтых тростников красная осоковая поляна. Осоку ночью ожёг мороз, и она стала красной. Иду на зорьке по колена в красной траве, вслушиваюсь и всматриваюсь. Слышу — звякнула под ногой льдинка, вижу — из-под сапога выстрелили веером белые стрелки-трещинки.

И вдруг взрыв — хвостатая рубиновая ракета!

Сзади вторая — кричащая, сверкающая, стремительная — фазаны!



Я крутнулся, повёл за фазаном ружьём и уж было догнал стволами его дрожащий на лету хвост, — фазан пропал за ветлой.

Взрыв слева — круть влево! Но вижу только стволы ружья и не вижу фазана. Взрыв справа — кручусь вправо, вижу фазана, но не вижу ружья. Взрыв — в глазах двоится: два фазана, четыре ствола!

И пошло: взрыв сзади, спереди, слева, справа, рядом, дальше, ближе! Кручусь, кручусь ошалело — карусель да и только!

Ружья больше не вижу. Вижу только сверкающих птиц, перо которых вобрало в себя блеск солнца и все жаркие цвета юга. Вижу их синие рогатые головки, отчаянно косящие глаза, бешено бьющие крылья, роскошные длинные хвосты, дрожащие от ветра.

Дюжина жар-птиц на пылающей полянке! Голова кругом!



Тень

Удивительная в лесу тишина: лес отдыхает. Солнечные зайчики сидят смирно. Подмигивает ленивая паутинка.

Хорошо идти по такому лесу от поляны к поляне: в каждой, как в зелёной чаще, свой тёплый настой. На одной медовый — отцветает лиловый вереск, на другой грибной, на третьей настоем на вялом листе. Идёшь и из каждой чаши отпиваешь глоток, пока голова не закружится!

На поляне с брусничным настоем стоял медвежонок. Он был один и делал то, что хотел. Делал он что-то очень странное. То вдруг взмахивал головой, а лапешками и носом тыкался в землю. То переваливался через тощий задок и скрёб когтишками землю. Он явно что-то ловил и никак не мог поймать.

Долго он перекатывался, хватал, кусал и сердился. А я всё смотрел и ничего не мог разобрать.

И вдруг понял: медвежонок ловил свою тень! Этот дурень не мог ещё сообразить, что тень — это тень и что поймать её нельзя. Он видел: рядом шевелится тёмное. Бросался на тёмное и скалил зубы. Но тень — это тень.



Даже старый матёрый медведь не очень-то верит своим глазам. Вот и медвежонок: понюхает тень — не пахнет. Наклонит ухо к земле — не шумит. Стукнет лапой — сдачи не даёт. Значит, её и нет!

Пошагал медвежонок прочь, а тень за ним. Вот это да!

Надо всё не спеша обдумать. Стал приседать медвежонок на задок. Вот приседает и — раз! — наткнулся на острый сучок! Подскочил, а оглянуться

боится: тень перед носом скачет. Кто её знает, чего замышляет.

Поёрзал, поёрзал и опять стал приседать. Сел. На сучок. Как подскочит!

Да и сучок ли это? Это мне видно, что вправду сучок, а медвежонок и оглянуться боится. Может, это чёрное, без вкуса, без запаха, так кусает?

Шерсть на мишкиной холке встала торчком. Даже клыки показал. Пятиться стал. Попятился и... опять напоролся на сук!

Тут заорал медвежонок басом и, как заяц, упрыгал в кусты.

И вот тихо на полянке и нет никого, будто никогда и не было. Убежал медвежонок, ускакала тень. Остался один сучок. Да брусничным настоем пахнет.

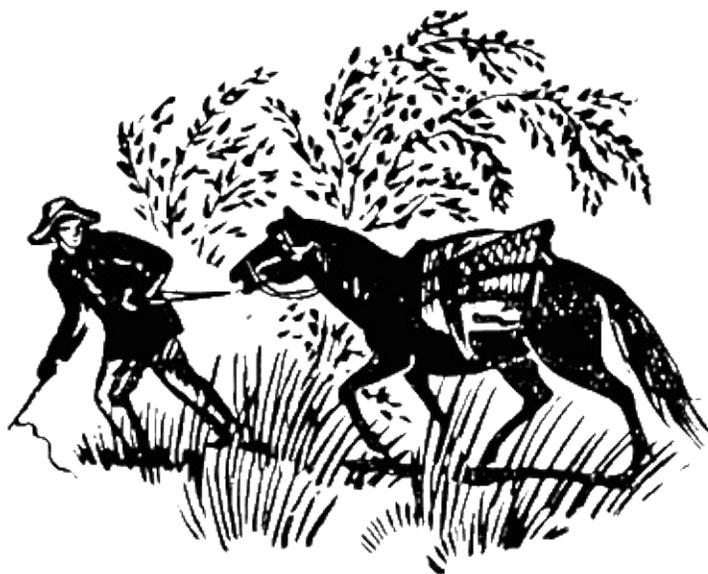


Ключик

(Рассказ косаря)

Помню, собрался я в горы за травой. Навьючил коня, приторочил к вьюку косу, вилы и грабли. А чтобы удобней и легче было, взял я косу, вилы и грабли без рукояток. Не очень-то ладно цепляться на узкой тропе длинными рукоятками за деревья.

«На месте вырублю», — решил я.



Пробивался я сквозь лес долго, поднялся высоко. Лесище — шапка долой! Еле нашёл рединку. Травы на рединке не густо — плешь на лысине! — но косить можно. Развьючил я коня, покурил. Тут же и рукоятки вырубил — ровные такие жердинки. Чтоб руки не скользили, кору с жердинок снимать не стал — только сучки обрубил. Насадил на жердинки косу, вилы и грабли, закрепил гвоздями. Опробовал. И — за дело. Весь день косил, сушил, переворачивал и копнил. Солнце жгучее — к вечеру всё высохло. Связал я два большущих тюка сена — и на вьюк. Сверху — ещё кувшин из-под воды, куртку, сапоги. Не вьюк, а целый воз вышел. Косу да вилы девать некуда — хоть на себе тащи! А куда там на себе, спину за день наломал — гудит. Взял я и воткнул косу, вилы и грабли рукоятками в землю посреди поляны, чтоб издали видно было. Всё равно на будущее лето сюда за травой подниматься. И кнут свой в землю воткнул — к дому да под гору конь и без кнута ходко пойдёт.

Но на будущее лето подняться на рединку не пришлось. Собрался я на

неё только через два года.

Вот, помню, поворот тропы, а повыше и рединке быть бы. Смотрю: по месту — она, а не узнаю. Тогда на рединке плешины да лысины были, травы чуть. А сейчас трава выше плеч, да сочная, густая! Цветы яркие, разные. Птицы — на все голоса! Зайчики солнечные скачут. И гуд над поляной от пчёл, и мёдом пахнет. Чудеса!

Посреди рединки — три деревца густолистных. Листья на ветру — как солнечная рябь на воде. Пригляделся я и ахнул: так это же мой инструмент пророс! Коса, грабли и вилы! Вот они — железными кольцами в стволики врезались. Под деревцами куст. Это мой кнут разросся. Только по ремню и узнать можно — до сих пор висит.

Сел я под ремённый куст — приглядываюсь. Вижу — земля сырая кругом, а тогда, два года назад, совсем сухая была. Пошёл по рединке вверх. В самом верхнем углу нашёл маленький ключик, родничок. Камень в сторону ссунулся — и пробилась вода, всю поляну увлажнила. Может, я сам даже тогда этот камень ногой нечаянно спихнул. А может, конь копытом сдвинул. Как в сказке! Конь копытом в землю — расступись, земля! Земля расступилась, тайные сокровища отдала.

Размечтался я у родничка: вот бы ко всякой земле такой ключик подобрать! Ключиком — раз! — и забил из-под земли зелёный фонтан. Распрямляются скрюченные ростки, на старых пнях вымахивают побеги. Ключиком — чик! — и зацвели разные цветы!

Пусть старик с медведем собирают вершки и корешки. У бабки с внучкой репка растёт большая-пребольшая. Тянут-потянут, вытянуть не могут. И вот уже нет ни у кого больше разбитого корыта и землянки. И все Золушки танцуют в хрустальных туфельках. Как в сказке!

Синяя птица

Её так и называют — синяя птица. Древняя родина её — Индия. Но теперь она живёт и у нас — в ущельях Тянь-Шаня.

Я долго искал встречи с ней. И вот сегодня у меня радость. Ну разве не радость своими глазами увидеть живое существо, которое никогда раньше не видел?!

У самой реки я втиснулся между огромных холодных камней. Тяжёлый водяной гул глушит всё. Я вижу, как падают в реку камни, но всплесков не слышу. Я вижу, как широко разевают клювики горные овсянки и чечевицы, но песен их не слышу. Я сам кричу для пробы — и не слышу сам себя!

В свирепом грохоте воды и вой ветра, и рёв бури, и громыхание грома.

Но вдруг звук особый, острый как нож, легко и шутя разрезал этот грохот и гул! Ни крик, ни рёв, ни вой не смогли бы одолеть грохот реки: свист, похожий на визг, перекрыл всё. В этом неистовом гуле он слышен так же легко, как песня зяблика в тихое утро.



Это она — синяя птица. Она тёмно-синяя — её видно издали. Она поёт, и песню её не заглушить. Она сидит на камне посередине реки. Как два зелёных крыла вокруг камня вздымаются и трепещут две упругих струи воды. На ней водяная пыль и в пыли переливается радуга. А сама она в

блесках жемчуга, как в росе. Поклонилась и веером развернула хвост: хвост вспыхнул синим огнём...

Спина моя затекла, под боком острые камни, по ногам, втиснутым в щель, ползают противные чёрные слизи. Я оглох от грохота и вымок от брызг. Но я не свожу с неё глаз: доведётся ли когда-нибудь ещё встретить синюю птицу...

Золотой дождь

Всё лето листья подставляли солнцу свои ладошки и щёчки, спинки и животики. И до того налились и пропитались солнцем, что к осени сами стали как солнышки — багряными и золотыми.

Налились, отяжелели и потекли.

Полетели иволгами по ветру. Запрыгали белками по сучкам. Понеслись куницами по земле.

Зашумел в лесу золотой дождь.

Капля по листику щёлкает — сорвётся лист. Синицы на ветке завозятся — брызнут листья по сторонам. Ветер вдруг налетит — закружится пёстрый смерч. А если неуклюжий косач с лёту вломится в ветви — хлынет сверкающий водопад.



По колено в листьях дерева стоят.

Ёлочки листьями украсились, грибы под листьями спрятались.

Листья шуршат, скребутся, лопочут. Листья летят, качаются и бегут. Листья вверху, внизу и вокруг.

Шумит золотой дождь.

На неведомой дорожке

Разными тропами досталось ходить: медвежьими, кабаньими, волчьими. Ходил и заячьими тропинками, и даже птичьими. Но такой тропинкой шёл впервые.

На звериных тропах разгадывал я звериные тайны. Что-то увижу на этой тропе?

Шёл я не по самой тропинке, а рядом. Уж больно узка тропинка, как ленточка. Тропинку эту расчистили и протоптали... муравьи. Для них-то она была, конечно, не ленточка, а широченное шоссе. И муравьёв бежало по нему много-много. Тащили мух, комаров, слепней, стрекоз. Слюдяные крылышки насекомых блестели. Казалось, что между травинок по склону льётся струйка воды.

Я иду по муравьиной тропе и считаю шаги: шестьдесят три, шестьдесят четыре, шестьдесят пять шагов... Ого! Это моих больших, а сколько же муравьиных?! Серьёзная тропа. Только на семидесятом шаге струйка пропала под камнем. Я присел на камень — дух перевести. Сижу, смотрю, как бьётся под ногами живая жилка. Дунет ветер — рябь по живому ручейку. Проглянет солнце — засверкает всё.

Вдруг будто волна хлынула по муравьиной дороге. Змейка по ней вильнула и — нырк! — под камень, на котором я сидел. Я даже ногу отёрнул, — наверное, это вредная гадючка. Ну и поделом — сейчас муравьи её обезвредят. Я знал, что муравьи смело нападают на змей. Сотнями облепят змею — и останутся от неё одни косточки. Я даже задумал скелет этой змейки забрать в свою коллекцию.

Сижу, жду. Под ногами бьётся и бьётся живой ручеек. Ну, теперь пора, больше часа просидел. Осторожно приподнимаю камень — не повредить бы змеиный скелет. Первое, что увидел под камнем, была змея. Но не мёртвая, а живая и совсем не похожая на скелет! Наоборот, она стала ещё толще! Змейка, которую должны были съесть муравьи, спокойно и не торопясь сама ела муравьёв! Она прижимала их мордочкой и отправляла языком в рот.



Змейка эта была не гадючка. Таких змей я ещё никогда не видел. Чешуйка — как наждак мелкая, сверху и снизу одинаковая. Больше на червяка похожа, чем на змею.

Удивительная змейка: приподняла тупой хвост вверх, повела им из стороны в сторону, как головой, да вдруг и поползла хвостом вперёд! А глаз и совсем не видно. Не то с двумя головами змея, не то вовсе без головы! А питается-то чем — муравьями!

Не вышел скелет, так я змейку забрал. Дома подробно её разглядел и определил название. Глаза у неё нашёл, маленькие, с булавочную головку, под чешуйками. Потому-то и называют её слепозмейка. Живёт она в норах под землёй. Там ей глаза и не нужны. А вот ползать то передом, то задом вперёд удобно. И землю она рыть может.

Вот к какому невиданному «зверю» привела меня неведомая дорожка. Да что говорить! Каждая дорожка куда-то ведёт. Только идти не ленись.

Плясунья

Ну и погодка, чтоб ей ни дна ни покрышки!

Дождь, слякоть, холод, прямо — бррр!.. В такую погоду добрый хозяин собаку из дому не выпустит.

Решил и я свою не выпускать. Пусть дома сидит, греется. А сам взял ружьё, взял бинокль, оделся потеплее, надвинул на лоб капюшон — и пошёл! Любопытно всё-таки поглядеть, что в такую непогоду зверьё делает.

И только вышел за околицу, вижу — лиса! Мышкует — промышляет мышей. Рыскает по жнивью — спина дугой, голова и хвост к земле — ну чистое коромысло!

Вот легла на брюхо, ушки торчком — и поползла: видно, мышей-полёвок слышала. Сейчас они то и дело вылезают из норок — собирают себе зерно на зиму.



Вдруг вскинулась лиска всем передом, потом пала передними ногами и носом на землю, рванула — вверх взлетел чёрный комочек. Лиса разинула зубастую пастиш ку, поймала мышь на лету. И проглотила, даже не разжевав.

Да вдруг и заплясала!

Подскакивает на всех четырёх, как на пружинках. То вдруг на одних задних запрыгает, как цирковая собачка — вверх — вниз, вверх — вниз! Хвостом машет, розовый язычок от усердия высунула.

Я давно лежу, в бинокль за ней наблюдаю. Ухо у самой земли — слышу, как она лапками топчет. Сам весь в грязи вымазался.

А чего она пляшет — не пойму! В такую погоду только дома сидеть, в тёплой, сухой норе! А она вон чего выкомаривает, фокусы какие ногами выделяет!

Надоело мне мокнуть — вскочил я во весь рост. Лиса увидала — тывкнула с испугу. Может, даже язык прикусила. Шасть в кусты, — только я её и видел!

Обошёл я жнивье и, как лиса, всё себе под ноги гляжу.

Ничего примечательного: размокшая от дождей земля, порыжелые стебли.

Лёг тогда по-лисьему на живот: не увижу ли так чего?

Вижу: много мышиных норок. Слышу: в норках мыши пищат.

Тогда вскочил я на ноги и давай лисий танец отплясывать! На месте подскакиваю, ногами топочу.

Тут как поскачут из-под земли перепуганные мыши-полёвки! Из стороны в сторону шарахаются, друг с другом сшибаются, пищат пронзительно. Эх, был бы я лисой, так...

Да что тут говорить: понял я, какую охоту испортил лисичке.

Плясала — не баловала, мышей из их норок выгоняла... Был бы у неё тут пир на весь мир!

Оказывается, вон какие звериные штучки можно узнать в такую погоду: лисьи пляски!

Плюнул бы я на дождь и на холод, пошёл бы других зверей наблюдать, да собаку свою пожалел. Зря её с собою не взял. Скучает, поди, в тепле под крышей.

На великом пути

Спешили мы до ночи в лес попасть — не успели. Заночевали в поле. Палатку привязали к телефонному столбу. Потому что тучи на небе кипят: быть буре! И только устроились — задуло. Стенки палатки напружинились и загудели. Загудели и провода над головой. Страшно в такую ночь в голой степи.

Гудит вокруг, ревёт, свистит, воеет.

И вдруг слышим: голоса! Странные голоса. Будто кто-то вздыхает тяжело: «Ох! ох! ох!» А другой подгоняет сердито: «Но! но! но!»

Выбрался из палатки. Как в чёрный водоворот нырнул: крутит, толкает, не даёт дышать. Но всё же разобрал — голоса-то с неба! Птицы кричат. Летят птицы на юг, и вот кричат в темноте, чтобы не потерять друг друга.



Большие и сильные высоко летят. А мелюзга разная — голосишки пискливые, крылышки мокрые дребезжат! — над самой землёй мчат. Гонит их вихрь, как сорванные листья. Не разобрать по голосам — что за птицы? На пролёте птицы кричат особыми, «дорожными» голосами, не похожими на их всегдашний зов.

Всю ночь рвал палатку ветер. Гудели провода. И кричали в темноте птицы.

А утром тишина. Ни туч, ни ветра. Солнышко проглядывает. А ничего живого не видно.

Вот только лисичка вдоль столбов бежит. Да чудная какая-то — бежит и кланяется! Пробежит — поклонится, пробежит — поклонится. Поклон — носом до земли.

До нас добежала — стоп! Пастишку разинула, вильнула, да так по

земле пошла, что кажется, над землёй полетела!

А когда вильнула, выронила из пастишки чёрный комочек. Пошёл я посмотреть. И вижу — птичка! А дальше под проводами ещё. Ночью о провода побились!

Так вот почему кланялась лисичка! Каждой мёртвой пичужке — лисий поклон.

Сколько тут птиц! Рыжегрудые зарянки упали на сухой бурьян, и бурьян расцвёл оранжевыми цветами. Куличок угодил в лужу — заломившееся крылышко торчит вверх. Гонит ветер мёртвого куличка, как лодочку под парусом.

У лужи — каменка. Тонкие пальчики стиснуты в кулачки, видно, от боли...

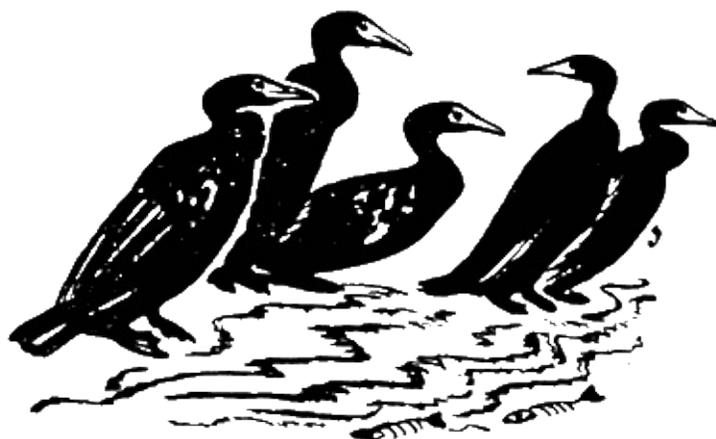
Далёк, далёк и труден птичий путь. Много ещё птиц потеряется в темноте и не откликнется на зов пролетающих стай. Много попадёт в зубы лисиц и когти ястребов. Но ещё больше — долетят.

Обязательно долетят.

Счастливого им пути!

Баклан

Море на рассвете ещё спит. Оно тихое и почти бесцветное — серое в сумерках. Вдоль прибойной полосы чёрным строем, как солдатики, сидят бакланы.



Я выстрелил по строю картечью. Бакланы разом, как по команде, взмахнули крыльями и полетели в море, трогая концами крыльев тихую воду.

Но один остался на берегу. Я подошёл, поднял его за чёрные, холодные и мокрые перепончатые лапки. Голова баклана беспомощно моталась на длинной шее. Он был убит наповал.

Я сел на песок и стал рассматривать новую для меня птицу. Вертел баклана в руках, дул ему под перо. Потом вынул циркуль-измеритель и измерил бакланий клюв, лапу, крыло и хвост, чтобы позже точнее определить его по определителю.

Цвет баклана был чёрный, то с зелёным, то с бронзовым отливом. Особенно хороши были глаза: косые, изумительного зелёного, малахитового цвета.

Долго я возился с мёртвым бакланом.

Вставало солнце. Лучи его будили всё живое. Проник луч в траву, и закопошились в траве разные жучки: усатые, горбатые, мохнатые. Пригрел луч цветочный бутон — бутон шевельнулся, тихонько раскрылся, как синий глазок. В бутоне букашки ночевали, расправили на солнце крылья и улетели.

Просыпалось и море. Я отложил птицу: море на восходе всего прекрасней.

Горизонт посинел. Ближе протянулись по морю полосы лазури, ещё ниже — лиловые, потом зелёные, как бакланьи глаза, и даже бронзовые, как отблеск бакланьего пера, — там, где было мелко и проглядывал песок дна. А с синего горизонта побежали по морю белые весёлые барашки.

Не оторвал бы я глаз от моря, если бы не сильный шум позади. Оборачиваюсь и вижу: мёртвый баклан ожил! Хлеща крыльями, он бежал по жёлтому песку к морю, на ходу выплёвывая рыбу.

Птицы-рыбоеды всегда так делают, когда хотят облегчить свой полёт. Этот воскресший обжора выплюнул тридцать бычков — чуть не килограмм рыбы! И полетел в море, сшибая чёрными крыльями белые гребешки волн. Вот он сел на воду и закачался на волнах.

Уж не оживил ли и его солнечный луч? Конечно, нет. Просто картечина чиркнула по голове и оглушила, и баклан «потерял сознание». Ну, а отлежался на ветерке, солнышком его пригрело, он и «ожил».

Я не жалел. Мясо баклана не ахти какое — рыбой пахнет. Шут с ним!

Серая цапля

Странный случай произошёл со мной на охоте у Ленкорани.

Рано утром я шёл по обочине залитого водой рисового поля. Вдруг из-за кустов ежевичника, углом вдающихся в это поле, взлетела серая цапля. Видно, до этого она была чем-то сильно занята, прозевала мой подход и теперь поспешно била большими крыльями, стремясь как можно скорей улететь. Она была так близко, что я видел её испуганный глаз, косящий на меня через плечо, и мокрые длинные ноги, с которых стекала вода.



Мне нужна была цапля для музея. Чтобы не разбить зарядом птицу, я отпустил её в меру, выстрелил, — и цапля, свесив длинную шею, плюхнулась в воду. Когда я подошёл, птица была уже мертва, только шея её длинная конвульсивно изгибалась.

Я спешил; подняв цаплю за длинные ноги, я запихнул её в рюкзак и зашагал дальше.

Вышло так, что отдыхать я сел только в полдень.

Сунул я руку в рюкзак, чтобы вытащить свёрток с едой, но рука вдруг наткнулась на что-то живое! Это «что-то» было холодное, но я отдернул руку так быстро, будто обжёгся.

В рюкзаке была змея!

Я вытряхнул змею из мешка, и она быстро уползла, шевеля траву. Это был пятнистый водяной уж.

Вот загадка: ведь рюкзак-то весь день был у меня на спине?
Может, змея упала с дерева и случайно угодила в мешок?
Здесь змеи иногда заползают на деревья и нередко падают оттуда, шлёпаясь о землю.

Но ведь рюкзак мой был завязан!
И вдруг я вспомнил, как странно шевелилась и изгибалась шея убитой мною цапли!..

Так вот оно что! Цапля поймала змею, проглотила её, да не совсем — я ей помешал. В рюкзаке змея выползла из цаплиного горла и уютно пригрелась на моей разгорячённой спине.

Я часто видел, как цапли ловят змей на рисовых полях. Схватив змею за хвост, цапля вскидывает шею, взмахивает змеёй, как кнутом, и, широко разинув клюв, отправляет её в глотку. Но, как только цапля опустит голову за новой добычей, змея выскользывает у неё из клюва. Цапля опять хватается её за хвост, глотает — и всё начинается сначала. Старые цапли хитрей: они сперва оглушают змею ударами клюва и уже тогда глотают.

Убитая мной цапля была совсем молодая и, значит, ещё не научилась убивать змей, прежде чем их съесть. И не научилась бояться человека. Ей не пришлось поумнеть.

Зато я стал немножко опытнее и осторожнее.



КРАЕШКОМ ГЛАЗА

На охоте работает всё: глаза, уши и даже нос. Самое главное, самое желанное, самое нужное и необходимое на охоте — это взлёт или крик птицы, появление зверя. Всё остальное для охотника — в тумане. Оно мимолётно. Слышишь его вполуха, видишь краешком глаза.

Ветер ли в голых сучьях свистнет по-особому — шепнёт на ухо тоскливое; расцветенные ли осенью листья необыкновенным сочетанием своим покажут вдруг что-то весёлое и радостное, донесётся ли откуда памятный запах, — ты дрогнешь и помедлишь...

Но это только миг. И опять вперёд, мимо всего этого: ухо ищет шорох дичи, глаза ищут дичь. И только в памяти, на самой дальней-дальней полочке, что-то отложится и там останется.

Вот об этом, услышанном на охоте вполуха и увиденном самым краешком глаза, и будет рассказ.

КРАЕШКОМ ГЛАЗА



Капли солнца

Бекас взлетел, завилял и взвился вверх — прямо к солнцу. Ружьё взлетело к плечу — выстрел, но стремительный чёрный комочек мчит вверх, всё вверх; с тонких мокрых ножек его, сверкнув, соскользнули две тяжёлые капли солнца...



Главное для охотника — дичь. Слава охотника в полном ягдташе. И почёт ему за удачу. Но радость охотника в другом. Сколько убил я бекасов, сколько их съел — и не помню. А вот того бекаса, не убитого и не съеденного, да ещё и промахнулся по которому позорно, — запомнил. Да и как запомнил! А ведь только краешком глаза, только на один миг увидел, как упали на взлёте, сверкнув, с его тонких мокрых ножек две золотые капли!

Сверкнули на миг, а на всю жизнь остались.

Волшебная полочка

— Я — ПОВЕЛИТЕЛЬ ПТИЦ!

Захочу — и птицы сами прилетят ко мне.

Захочу — прилетят голуби и воробьи. Захочу — синицы. Захочу — явятся гости севера — снегири и свиристели.

Нет, я не волшебник. Я не шепчу таинственных заклинаний. И у меня нет волшебной палочки. Но зато у меня есть волшебная полочка.

На вид полочка совсем проста: простая фанерка с простыми деревянными бортиками. Но в полочке волшебная сила!



Так и быть, я открою свой секрет. И к вам, стоит вам только захотеть, станут прилетать дикие птицы. Для этого надо на простую полочку насыпать простой крупы и простых хлебных крошек. Потом полочку нужно выставить за окно. И полочка сразу станет волшебной! На неё сразу же прилетят голуби и воробьи.

А если вы живёте у парка или в деревне, укрепите на полочке кусочек сала — к вам прилетят синицы!

Положите на полочку кисти рябины — прилетят снегири и свиристели.
Сделайте себе ВОЛШЕБНУЮ ПОЛОЧКУ.

Каждый день станут прилетать к вам разные птицы.

Вы станете ДОБРЫМ ПОВЕЛИТЕЛЕМ ПТИЦ!

Белые фигурки

Всю ночь таинственно перешёптывались деревья: что-то творилось в лесу. Утром стало видно: в лес пришла зима. Под холодными лесными сводами, покорно склонив головы, застыли скорбные белые фигурки.

Вместе со снегом налетели и набежали в лес диковинные, невиданные существа. Они расселись по пням и сучкам, взобрались на ёлки и сосны — странные молчаливые фигурки, неподвижные, незнакомые, но на что-то очень похожие...

Вот вылез из сугроба лесной человечек в огромной папахе и бурке. Вылез и устался на побелевший лес.

А может, и не на лес, а вот на эту печальную фигурку? Обласкало солнце пригорюнившуюся фигурку, и с мохнатых хвойных ресниц её закапали слёзы...



А тут кто-то бодрый вскинулся на дыбки: то ли зайчик, то ли белочка, то ли собачка. И эта непонятная зверюшка прискакала в лес вместе со снегом и вместе со снегом пропадёт из леса. Это зверёк-оборотень. Сделай шаг в сторону, и он вмиг исчезнет: прикинется простым сучком, запорошённым снегом. Вот птица — не птица, зверь — не зверь. Шею вытянуло, крылья свесило, того и гляди улетит! А тронь — упадёт и рассыплется в прах. Останутся на снегу вмятинки — следы невидимого существа.

Белые медведи и белые совы. Белые зайчики-ёлочки стоят столбиками, ушки на макушке, лапки на пузечке — насторожились и замерли. И не

спеша бредёт средь дремучих снегов белый сказочный слон.

Полон лес диковинных зверей и птиц. Нигде больше таких не увидишь, только в лесу и только зимой.

В лесу

В лесу и зимой хорошо, и в мороз жарко; были бы спички. Запалил костёр, чаю вскипятил — пей-отдыхай!

Побежали мы с приятелем в лес. Весело тарыхтим: он спичками, я котелком.

Стали сушняк на костёр собирать Вот уж попутались на лыжах в чапыге! А без лыж нельзя: проваливаешься.

Час прошёл, собрали кое-как. Вспыхнул весёлый костёр. Вспыхнул, разгорелся и... стал тонуть! Тонет прямо на глазах — за огонь-то его не схватишь, не удержишь. Тонул, тонул и утонул. Мы на снегу, костёр под снегом. Вместе с котелком. Еле достали горячий котелок.

Поставили котелок на снег — котелок утонул. Выудили его рогулькой, как окуня из лунки. Разлили чай по кружкам — кружки утонули. Соскочили мы за кружками с лыж — сами по пах увязли.



Стоим в снегу — ни сесть, ни шагнуть.

Чай замёрз. Сами замёрзли.

Костёр чадит. Дым ест глаза. Слёзы по щекам текут, вытереть их нечем — руки в саже. И пальцы свело, не гнутся, как грабли. Вот тебе и пей-отдыхай!..

Да, хорошо в зимнем лесу.

Только тому, у кого умелые руки, а не грабли!

Пороша

Первая пороша, первая пороша — как белая июньская ночь! Всё невидимое делает видимым, всё тайное — явным.

Был лес тёмный и глухой и вдруг посветлел и ожил. Никто незаметно не пробежит, никто невидимо не пройдёт. Каждый оставит след, сам о себе расскажет.

Рассказы, рассказы — нет им конца. Смешные и грустные, страшные и бесстрашные, длинные и короткие.

Вот короткий рассказ.

Выпал снег — вот-то перетрусил все первогодки! В жизни такого ещё не видели.

Первые ночь и день смирно сидели: а вдруг да что-то случится? Но ничего не случилось. Белое лежит и молчит.

Потрогали лапой — мягкое. Ткнули носом — не пахнет. Прикусили зубами — холодное. Не огрызается, не дерётся.

Обрадовался заяц-беляк: «Теперь меня, белого, на белом никто не увидит». Сорока запрыгала, задрал хвост. Лисёнок шагнул.

Начались и потянулись лесные рассказы.



Диковинный мне повстречался след: крестик и скобочки, крестик и скобочки. Сразу и не прочтёшь.

Всё короче прыжки, всё глубже скобочки по бокам. Немного прошёл — и конец: лежит на снегу певчий дрозд. Жалкий комочек встопорченных

перьев. Ножка отбита, вывернуто крыло. Видно, охотник осенью его подстрелил. С дрозда проку нет: подержал, да и бросил.

Жил дрозд калекой, еду на земле находил. На ножке скакал, на крылышки опирался. Как инвалид на костылях. Перебивался с брусники на клюкву, пока снег её не укрыл.

Тогда совсем отощал: упирается в ладонь грудная косточка. От голода и околел.

Жаль, не просвистит он весной своих песен, а до чего ж они хороши!

Пороша, пороша: кому диковина, кому белая книга, кому спасенье и радость, а кому и конец.

Песенки подо льдом

Это случилось зимой: у меня запели лыжи! Я бежал на лыжах по озеру, а лыжи пели. Хорошо пели, как птицы.

А вокруг снег и мороз. Слипаются ноздри и стынют зубы.

Лес молчит, озеро молчит. Петухи в деревне молчат. А лыжи поют!

И песенка их — как ручеёк, так и льётся, так и звенит. Но ведь не лыжи же, в самом деле, поют, где уж им, деревянным. Подо льдом кто-то поёт, прямо у меня под ногами.

Уйди я тогда, и подлёдная песенка осталась бы чудесной лесной загадкой. Но я не ушёл...

Я лёг на лёд и свесил голову в чёрный провал.

За зиму вода в озере усохла, и лёд навис над водой, как лазоревый потолок. Где навис, а где обрушился, и из тёмных провалов курчавится пар. Но ведь не рыбы же поют там птичьими голосами? Может, и вправду там ручеёк? Или, может, звенят рождённые из пара сосульки?

А песня звенит. Живая она и чистая; такую ни ручью, ни рыбам, ни сосулькам не спеть. Такую только одно существо на свете может спеть — птица...

Я стукнул лыжей по льду — песенка смолкла. Я постоял тихо — песенка зазвенела опять.

Тогда я что есть силы стукнул лыжей об лёд. И сейчас же из тёмного провала выпорхнула чудо-птица. Села она на край полыньи и трижды мне поклонилась.

— Здравствуй, подлёдная певунья!

Птичка опять кивнула и спела на виду подлёдную песню.



— А я ведь знаю тебя! — сказал я. — Ты оляпка — водяной воробей!

Оляпка ничего не ответил: он умел только кланяться и кивать. Снова юркнул он под лёд, и оттуда загремела его песня. Ну и что, что зима? Подо льдом ведь ни ветра, ни мороза, ни ястреба. Подо льдом чёрная вода и таинственный зелёный полумрак. Там, если погромче свистнуть, всё зазвенит: эхо помчится, стучаясь о ледяной потолок, увешанный звонкими сосульками. Чего бы оляпке не петь!

А нам чего бы его не послушать.

Кусок хлеба

На мусорную кучу зимой только сытый не летит. Но сытых зимой мало. Всё видят голодные птичьи глаза. Чуткие уши всё слышат. Думаете, раз птичьи уши не заметны, то они и не чутки? Как бы не так! Тихо скрипнет дверь — а птицы слышат. Хозяйка выплеснет из ведра помой — сразу увидят. Уйдёт — они тут как тут. Они — это вороны, галки, сороки и сойки. Птицы смыслёные, осторожные, хитрые. Человека они знают и знают, когда его надо бояться. Больше всего они любят тех, кто не обращает на них внимания. Но внимание на них трудно не обратить.



Вороны прилетают, шумя отсыревшими крыльями, и забавно моргают, мелькая белым веком. Будто закатывают глаза от удовольствия.

У сорок на чёрных бархатных спинках искрятся снежинки. А хвосты и крылья будто покрашены нефтью: отливают зелёным, лиловым и жёлтым.

Чёрные галки — в серых воротничках, глаза у них белые и удивлённые.

Сойка наряднее всех: рыжий хохол, на крыле голубое — как рябь на воде. Ладная, ловкая. Полный рот набьёт, даже горло раздуется. И скорее в лес: по углам рассовать. Рассуёт и снова летит. Страшно, а летит. От страха даже рот открывает и хохол поднимает дыбом. Даже бормочет что-то под нос. Но голод ещё страшней.

Голод пригнал галку-инвалида. Какой-то охотник отстрелил ей нижнюю половинку клюва. Ни клюнуть, ни взять, ни почистить перья.

Села, странно тонконосая, взъерошенная, отощавшая, с перьями-

сосульками на брюшке. Будь что будет.

Положила головку на снег и боком-боком уцепила кусок. Кусок — день жизни. Будет ли он и завтра?

Видимо и невидимо птицы вокруг жилья.

Стукнула дверь: друг или враг? С ведром или с ружьём?

Лучше бы спрятаться, да надо лететь. На мусорную кучу только сытый зимой не летит. А сытых зимой мало.

Своя песня

Все птицы хороши, но скворцы с особой изюминкой; каждый у них в особицу, один на другого не похож.

Пером и росточком одинаковы — скворцы и скворцы! — да у каждого свой талант. Один вдруг чечевицей крикнет, а сосед — куличком. Кому воробей по душе пришёлся, кому — жаворонок. А иному — петух, а то и кошка! И от этого скворец не просто «скворец», а «скворец с чечевичкой», «скворец с иволгой», «скворец с куликом». А есть и такие, что на многие голоса молодцы.



Собрались как-то у меня зимой в клетках разные птицы: зарянка, щегол, синица, чиж, клёт да снегирь. Птиц много, но все разные, на разных языках говорят, друг друга не понимают. А самим с собой разговаривать не очень-то весело. Наохлились птицы.

Но был среди них скворец. Пикнет, бывало, заряночка грустно — скворец ей в ответ заряночьим голосом: «Ти-ик!» Заряночка насторожится, просвистит что-то. И скворец в ответ просвистит. Заряночка весёлую нотку свистнет — скворец ответит. Потом скворец просвистит — заряночка откликнется.

И так с каждой птицей: со щеглом, чижом, синицей, снегирём.

Птицы радуются: кому не приятно на родном языке пересвистнуться! Так всю зиму и жили припеваючи.

А всё скворец! С каждым общий язык нашёл, каждого расшевелил. И

себя не забыл: песню свою новыми звуками наполнил. Хороша песня стала:
и своя и для всех!

Вежливая галка

Много у меня среди диких птиц знакомых. Воробья одного знаю. Он весь белый — альбинос. Его сразу отличишь в воробьиной стайке: все серые, а он белый.

Сороку знаю. Эту я по нахальству отличаю. Зимой, бывало, люди за окно продукты вывешивают, так она сейчас же прилетит и всё растреплет.

А вот галку одну я заметил за её вежливость.

Была метель.

Ранней весной бывают особые метели — солнечные. Снежные вихри завиваются в воздухе, всё сверкает и несётся! Каменные дома похожи на скалы. Наверху буран, с крыш, как с гор, текут снежные водопады. Сосульки от ветра растут в разные стороны, как косматая борода деда-мороза.

А над карнизом, под крышей, есть укромное местечко. Там два кирпича из стен выпали. В этом углублении и устроилась моя галка. Чёрная вся, только на шейке серый воротничок. Галка грелась на солнце, да ещё и расклёвывала какой-то лакомый кусок. Уютное местечко!

Если бы этой галкой был я, я бы никому такое местечко не уступил!

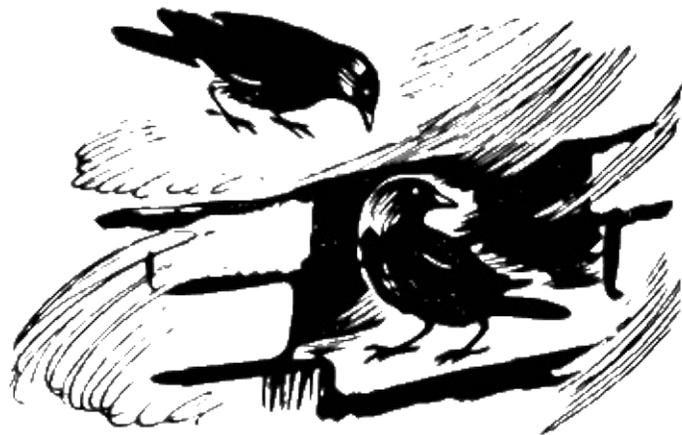
И вдруг вижу — подлетает к моей большой галке другая, поменьше и цветом потусклее. Прыг-скок по карнизу. Круть-верть хвостом! Села напротив моей галки и смотрит.

Ветер её треплет — так перья и заламывает, так белой крупой и сечёт!

Моя галка кусок свой схватила в клюв — и шасть из углубления на карниз! Тёпленькое местечко чужой уступила!

А чужая галка хватить у моей кусок из клюва — и на её тёпленькое местечко. Лапкой чужой кусок прижала — клюёт. Вот бессовестная!

Моя галка на карнизе — под снегом, на ветру, без еды. Снег её сечёт, ветер перья заламывает. А она, дура, терпит! Не выгоняет маленькую.



«Наверное, — думаю, — чужая галка очень старая, вот ей место и уступают. А может, это всем известная и всеми уважаемая галка? Или, может, она маленькая, да удаленькая — драчунья». Ничего я тогда не понял...

А недавно вижу: обе галки — моя и чужая — сидят себе рядышком на старой печной трубе и у обеих в клювах прутики.

Эге, гнездо строят! Тут уж каждый поймёт.

И маленькая галка совсем не старая, и не драчунья. Да и не чужая она теперь. И уж, конечно, не всеми уважаемая.

А моя знакомая большая галка совсем не галка, а гал!

Но всё равно мой знакомый гал очень вежливый. Я такого первый раз вижу.

Земля!

Сосна была высоченная, мачтовая. И на ней, как на корабельной мачте, было воронье гнездо. Настоящее воронье гнездо, на настоящей корабельной сосне.

В гнезде сидел зоркий наблюдатель — воронёнок, сын ворона. Он вылупился из яйца очень рано, когда вокруг ещё лежал снег. И вот сегодня он первый раз в своей жизни увидел среди безбрежного снежного моря тёмное большое пятно — проталину. Над проталиной струился пар, и она плыла и колыхалась, как далёкий мираж.



— Ко-рр! Ко-рр! — на весь лес крикнул удивлённый воронёнок. — Ко-рр!

Вот так наблюдатель-морьяк, сидя в «вороньем гнезде» на корабельной мачте, завидев далёкий берег, кричит радостно и громко: «Земля! Земля!»

Заячий хоровод

Мороз на дворе. Особый мороз, весенний. Ухо, которое в тени, мёрзнет, а которое на солнце — горит. С зелёных осин капель, но капельки не долетают до земли, замерзают на лету в ледышки. На солнечной стороне деревьев вода блестит, теневая затянута матовой коркой льда.

Порыжели ивняки, а ольховые заросли стали лиловыми.

Днём плавятся и горят снега, ночью пощёлкивает мороз.

Пришла пора заячьих песен. Самое время ночных заячьих хороводов.

Как зайцы поют, — по ночам слышно. А как хоровод водят, — в темноте не видать.



Но по следам всё понять можно: шла прямая заячья тропа, от пенька до пенька, через кочки, через валежины, под белыми заячьими воротцами и вдруг закружила немислимыми петлями! Восьмёрками среди берёзок, кругами-хороводами вокруг ёлочек, каруселью между кустов.

Будто закружились у зайцев головы и пошли они петлять да путать.

Пляшут и поют: «Гу-гу-гу-гуу! Гу-гу-гу-гуу!»

Как в берестяные дудки дуют. Даже губы подскакивают!

Нипочём им сейчас лисицы и филины. Всю зиму жили в страхе, всю зиму прятались и молчали. Довольно!

Март на дворе. Солнце одолевает мороз.

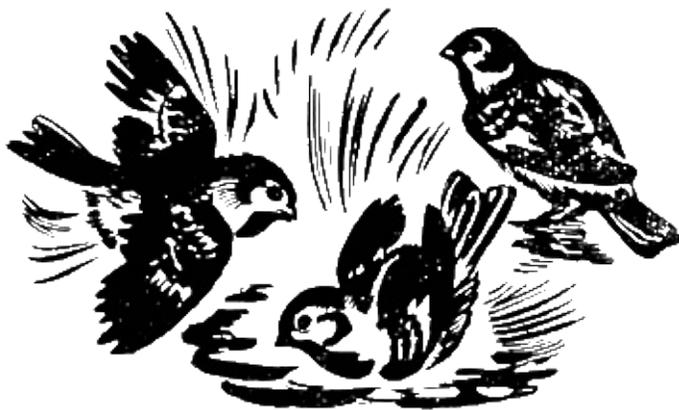
Самая пора заячьих песен.

Время заячьих хороводов.

Весенняя баня

Ванятка считал себя знатоком птиц. Ему приходилось держать в клетках чижей, чечёток, снегирей, синиц, щеглов, клестов, зябликов. А сегодня вышел Ванятка из школы и видит: на краю снеговой лужи сидят три совершенно незнакомые птички ростом с воробья. Одна чёрная, другая коричневая, а третья вовсе рыжая.

Прыг-прыг-прыг — по гузку — по самый хвостик — в лужу, и ну купаться! То грудку окунут в воду, то на задок присядут и бьют, бьют тупыми крылышками по воде, трепыхаются в ней. Брызги над ними, как фейерверк: в каждой капельке — искорка солнца.



Выскочили из лужи и, встряхнув мокрые крылышки, взъерошенные, перелетели на песчаную дорожку. И — вот глупыши! — давай барахтаться в грязном песке. Песок к перу липнет — измазались все! Не поймёшь, какого и цвета стали.

Скоро так песком облипли, что и летать не могут. По земле поскакали.

Прыг-дрыг-скок — и опять в лужу! Опять над ними солнечный фейерверк, да ещё радуга в брызгах. Моются, стараются.

Выкупались, вымылись — и выскочили на бережок.

Ванятка так и ахнул:

— Воробьи! Все трое — обыкновеннейшие воробьи!

Все трое серенькие, свеженькие такие, чистенькие. А вот вода в луже стала грязной...

Понял Ванятка: воробьи так за зиму измазались, что и на себя стали не похожи. Это они сейчас в бане мылись, зимнюю грязь с себя смывали. С песочком тёрли!

Чёрный сажу смывал: он всю зиму в дымовой трубе ночевал.

Коричневый — спал в сыром дупле, в гнилой трухе вымазался.

Рыжий — в кирпичной стене устроился, в дырке.

Вот и стала вода в луже чёрно-кирпично-коричневой.

— С лёгким паром! — крикнул Ванятка воробьям и побежал домой, разбрызгивая ногами весенние лужи.

За окном

Весной в лесах и полях поют мастера песен — соловьи, жаворонки. Люди слушают их затаив дыхание.

Я знаю много птичьих песен. Услышу — и сразу скажу, кто поёт. А нынче вот не угадал.

Проснулся я рано-рано. Вдруг слышу: за окном птичка какая-то возится в кустах. Потом голосок слышу, да такой приятный, будто две хрусталинки ударились друг о друга. А потом просто по-воробьиному: «Чив! Чив!» Диво!

Хрусталинкой — воробьём, воробьём — хрусталинкой. Да всё быстрее, всё звонче!

Перебрал я в памяти все птичьи песни — нет, не слышал такой никогда.

А птичка-невидимка не унимается: хрусталинкой — воробьём, воробьём — хрусталинкой!



Тут уж и под тёплым одеялом не улежишь! Вскочил я, отдёрнул занавеску и вижу: сидит на кусте обыкновенный воробей! Старый знакомый. Он всю зиму летал ко мне на подоконник за крошками.

Но сейчас воробей не один, а с подружкой. Подружка спокойно сидит и пёрышки чистит. А воробью не сидится. Он чирикает во всё горло и, как заводной, скачет вокруг подружки с ветки на ветку, как со ступеньки на ступеньку. Тонкие ветки бьются одна о другую и звенят хрусталинками. Потому звенят, что дождевая вода замёрзла на них тонкими сосульками.

«Чив!» — воробей, «дзень!» — сосулька.

И так это выходило хорошо и здорово, ей-ей не хуже, чем у

заслуженных певцов — соловьёв и жаворонков.

Первые

Закапало с сосулькиных носов. Холодное небо залила тёмная солнечная дымка.

Каждую весну я с изумлением слежу за великим переселением птиц с юга. Мчат над головой быстрые кулики. Совсем недавно бегали они по отмелям тропических рек, кося глазком на зубатых крокодилов. Летят журавли, — может, на перьях их ещё сохранилась пыль берегов Нила.

Все спешат туда, где сами выклюнулись из яйца и впервые увидели синее небо и зелёную землю.

Удивительное это дело — перелёт птиц!

Но ещё больше изумляют *первые*.

Капают сосулькины простуженные носы. По ночам ещё позванивает мороз. Только крошечные проталинки наклюнулись на белых холмах, а *первые* уже тут.

... Лиловые тучи приподнялись над горизонтом и открыли оранжевую полоску зари. В оранжевую щель со свистом ворвался вихрь; зазвенела на ветру упругая жёлтая стерня. На чёрной маслянистой пашне вспыхнули от зари лужи, будто в подземных окнах включили свет.

На север, борясь с вихрем, мелькая белым брюшком, пролетела *первая* ласточка.



... Захлебываюсь ветром. Ветер заливаает рот, нос, глаза и уши. Тону в ветре, как тонут в бурной горной реке. Цепляюсь за жёсткие стебли травы, прячу голову за камень. Под камнем лисья нора — пахнет сырой землёй и зверем. Неглубоко в норе птичка — горный конёк. Конёк спасается от бури.

Это *первый* конёк. Так и лежим рядом — человек и птичка. Слушаем, как обрушиваются на скалы тяжёлые валы ветра.

А в степи?

... На белую степь смотреть нельзя. Снег занастился и полыхает на солнце литым стеклом. Редко-редко чёрные точки — первые проталинки. В полдень над проталинками струится парок. И, как рождённая из пара, поднимается вверх на трепещущих крыльях птица. Лётся над снежной степью её ветряная песенка. Это *первый* жаворонок.

На много дней полёта впереди своих стай, терпя голод и холод, страстно рвутся вперёд первые вестники весны — *первые* птицы.

И захотелось мне узнать, какие же они, эти *первые*? Чем они отличаются от остальных? Что это за птицы, которые, наперекор всем невгодам, обогнали свои стаи и летят впереди?

Может, эти птицы больше ростом, сильнее? Может, у них теплее перо и гуще пух? Может, крепче у них клювы и ноги? Или окраской они отличаются от всех других?

Я стал наблюдать.

Я находил их замёрзшими. Ловил обессиленных. Уж очень хотелось узнать тайну *первых*.

Подробно разглядывал я этих птиц. Ощупывал крылья, дул под перо, измерял, описывал окраску. И потом сравнивал.

Нет, ничем эти *первые* внешне не отличались от всех других. Такое же перо, та же окраска, те же размеры крыльев и клюва. Желудок только чаще бывал пуст. Да кожа под пером синеватая, без жира.

Так и не разгадал я тайну *первых*. Так и не узнал, чем отличаются передовые от летящих позади. По виду они совсем такие же.

Значит, различие у них не снаружи, а внутри. Что ж, это очень похоже на истину. Пожалуй, это так и должно быть. У всех *первых* что-то особое внутри, а не снаружи.

Только вот — что?

Шепелявая птица

— Приложите-ка, ребята, ухо к замочной скважине. Слышите?

— Кукареку-у!

— Петух, — сказали ребята. — Знакомая птица!

А за дверью вдруг по-кошачьи:

— Мяу, мяу, мяу!

Вот так петух!

И вдруг как часики:

— Тик-тик-тик! Защебетало, защебетало. Потом по-синичьему:

— Вин-тик, вин-тик, вин-тик!

Потом по-куличиному:

— Ули-и-ит, ули-и-ит!

И как певчий дрозд:

— Фи-лип, фи-лип, фи-лип!

— Это птица-повторялка, — сказали ребята. — На всех птичьих языках говорит!

А птица за дверью как скажет человеческим голосом:

— Кош-ка, кош-ка, кош-ка, бр-р-рысь!

— Вот это да-а!

А птица за дверью:

— Шкворушка, шкворушка, шкворец!



Все так и ахнули. Это же скворец ручной! Скворцы ведь известные пересмешники. Они могут птичьи голоса передразнивать и человеческие слова повторять. Только вот шепелявят здорово:

— Шкворушке сахару шкорей!

Но для птицы это полбеды. Беда, когда иные ребята говорят:

— Шёл Шашка по шоше и шошал шошку!

Прямо скворцам на смех!

Крылатые песни

Небо сияет — глаз не поднять. И в этом сиянии, невидимо, летят с юга на север птичьи песни. Летят в одиночку и стайками; никому их не видно, но всем слышно.

Медленно тонут в набухшем снегу нагретые солнцем соринки, чешуйки и щепки. Синицы собирают на снегу оттаявших комаров и мух. Услышав летучие песни, синицы скачут вверх по стволу, с сучка на сучок, всё выше и выше, как по ступенькам винтовой лестницы. Вот и конец, вот еловый шпиль; дальше синее небо, белое сияние — ничего не видать. Разве песни увидишь? А песни летят; песня за песней, одна за другой, журчащие, как ручейки.



Осенью птицы улетают молча: были и нет. Или кричат унылыми прощальными голосами. А весной каждая пичужка звенит, песни летят наперегонки. Видно, торопятся песни домой. Не видя, их узнаешь. Вон та — трясогузка, а это — зарянка. А эта, что летит и журчит, — жаворонок. Близкая сердцу птица: песня и полёт!

Вот чибисы; кому не знакомо их тягучее «у-вы!» и «ку-вырк!». Но чибисов не видно, слышны только их голоса! Неужели, как в сказке, голоса обогнали хозяев и первыми прилетели домой? И так и не так.

Бегают по липкой пашне скворцы и кричат чибисиными голосами. Видно, устали чибисы в пути и скворцы обогнали их. На лету подхватили чибисиные унылые крики и унесли их с собой. А может, налетела на чибисов беда, может, снежные вихри заломили им крылья и понесли по земле. Не долетела бы песня домой, если бы не скворцы.

Весна — вот и торопятся песни домой. Песни спешат наперегонки.
Песни летят как на крыльях!

Тетеревиные ноты

Ещё не поют в лесах тетерева. Ещё только ноты пишут.

Пишут они ноты так. Слетает один с берёзы на белую поляну, надувает шею, как петух. И семенит ножками по снегу, семенит. Крылья полусогнутые волочит, бороздит крыльями снег — нотные строчки вычерчивает.

Второй тетерев слетит да за первым по снегу как припустит! Так точки ногами на нотных строчках и расставит:

— До-ре-ми-фа-соль-ля-си!

Первый сразу в драку: не мешай, мол, сочинять! Чуфыкнет на второго да по его строчкам за ним:

— Си-ля-соль-фа-ми-ре-до!



Прогонит, поднимет вверх голову, задумается. Побормочет, побормочет, повернётся туда-сюда и лапками на своих строчках своё бормотание запишет. Для памяти.

Потеха! Ходят, бегают — расчерчивают снег крыльями на нотные строчки. Бормочут, чуфыкают — сочиняют. Песни свои весенние сочиняют и ножками да крыльями их на снегу записывают.

Но скоро кончат тетерева песни сочинять — начнут разучивать.

Взлетят тогда на высокие берёзки — сверху-то хорошо ноты видно! — и запоют. Все одинаково запоют, ноты у всех одни и те же: бороздки да крестики, крестики да бороздки.

Всё разучивают да разучивают, пока снег не сойдёт.

А и сойдёт — не беда: по памяти поют. Днём поют. Утром и вечером поют.

— Здорово поют, как по нотам!

Оттаявшие происшествия

Всё, что случилось зимой в лесу, — всё скрыл снег. Злодейство ли, доброе ли дело — всё погребено в сугробах: снегом укрыто, метелью заглажено. Ни памяти, ни следа.

Но пришла оттепель, и всё вышло наружу. Всё, что копилось, всё, что скрывалось, выступило напоказ. Оттаяли хвоинки, прутики, листики, кусочки коры. Везде под кузницами дятлов грудками лежат шишки.

Вот перья вороны, которую в конце зимы разорвал ястреб. Вот подснежные спаленки-лунки рябчиков и тетеревов. В них они спали в самую глухую зимнюю пору. Тут снеговые тоннели крота: ишь ты, он и в снегу искал червяков!

Шишки, сброшенные клестами и оглоданные белками. Подстриженные зайцами ивы.



А вот землеройка, задушенная и брошенная лаской. Вот хвостик белки-летяги — остатки обеда куницы.

Будто листаешь прочитанную книгу и рассматриваешь картинку.

Ветер и солнце долистают белую книгу. Скоро покажется и обложка-земля. Тогда все зимние происшествия встретятся, соединятся и растворятся в тысячах и тысячах других, скопившихся на земле за долгие-долгие годы.

Вся земля под ногами — это бывшие происшествия.

Тёплая струйка

Зима — тяжёлое время. Даже могучие звери прячутся в берлоги и норы. Трудно представить, что где-то сейчас, в тайничках под снегом, лежат окоченевшие бабочки. Бывало, чуть ветер, чуть дождь, а они уже сникли. И пыльца на крылышках сбилась и потускнела.

Но они есть, они ждут; ждут весну и тепло.

Бабочка крапивница зимовала в стогу. Солнце нагрело стог, и заструилось от него тепло. К теплу, на припёк, и выползла неловкая и сонная бабочка. Подкрылышко одно отпало, другие оббились, стёрлась пыльца. Нелегко зимовать в стогу.



Крапивница отогрелась и затрепетала от нетерпения. Качнулся ветерок, она вспорхнула и понеслась.

И вдруг её обдало жгучим морозом; вокруг стога ещё лежали снега. Лес и луга в снегу: один стог оттаял и высох. Крапивница сникла и опустилась на снег.

Хорош мартовский снег: в гранях и блёстках, с весенней голубизной. И крапивница на нём как первый цветок.

Но кому красиво, а крапивнице — смерть. Уже окоченела совсем, когда тёплая струйка ветра от нагретого стога протянулась и к ней; она встрепенулась, вспорхнула и понеслась по тёплой струе, как по знакомой дорожке. Струйка-тропинка привела её к стогу.

Каждый солнечный день теперь вылетает крапивница полетать. Смело носится над заснеженным полем. Но далеко не улетает. Текут от стога нагретые струйки, колышутся за ним, как невидимые ленты. Крапивница чувствует их тепло, они для неё — как дорожки к жизни.

Всё выше солнце, всё жарче стог, всё длиннее тёплые струи-дорожки. Всё дальше и дальше отлетает по ним от стога крапивница. Пока однажды не долетит до первой большой проталины. Там и останется весну встречать.

Овсянкины советы

Песенку овсянки мы сначала и слушать не хотели: уж больно проста. Да и певичка невидная: сидит неподвижно на ветке, прижмурив глаза, и поёт одним голосом:

— Синь-синь-синь-си-и-нь!

Но нам сказали, что хоть и одним голосом она поёт, да о разном.

— Вы только вслушайтесь, — сказали. — Слышите?

— Синь-синь-синь-си-инь!

И верно, вокруг синь! Как мы раньше этого не заметили! Небо синее, дымка над лесом синяя, тени на снегу — как синие молнии. А если ещё и глаза прижмурить, — всё станет синим. Синий месяц март!

— Это ещё не всё, — сказали. — Послушайте-ка её в апреле.

В апреле овсянка песенкой своей давала советы. Увидит возчика в розвальнях на раскисшей дороге и запоёт:

— Смени сани, возьми во-о-з-з!



В мае у овсянки песня та же, но совет другой. Увидит, что скотник сено коровам несёт, и сразу:

— Неси, неси, неси, не тру-си-и!

— Ишь ты, — усмехается скотник. — И откуда она знает, что сено у нас к концу?

Любит овсянка возле человеческого жилья петь. Одна у неё песенка, только каждый переводит её на свой лад.

Ранняя птичка

Незаметно зажглась и тихо начала разгораться в небе алая полоска зари. Утренний ветерок прошумел в вершинах берёз. Тонким перезвоном оледенелых хвоинок отозвались ему высокие сосны.

Внизу, в глубокой темноте леса, явственней зажурчал невидимый ручеёк. И весь лес стал полниться чуть слышным шуршанием, шорохом, хрупким хрустом, тихим звоном — звуками неодушевлённой жизни. И каждый звук был сам по себе: то хруст ветвей, то звон капель, а то посвисты жёстких хвоинок.



Но вдруг все эти отдельные хрусты, звоны и свисты соединились и зазвучали слаженно и живо.

И вот возникла — просто, как живая струйка воды из-под глыбы снега, — родилась в предрассветной мгле лесная песенка. Возникла и полилась тихо, полная робкой радости, светлой весенней грусти. Это запела зарянка.

И чудом соединила в песне своей все неодушевлённые шорохи, шелесты, звоны и хрусты дремучей лесной ночи. Соединила и оживила, и стали они понятны и близки всем.

Рано, одной из первых среди наших перелётных птиц, возвращается она к себе на родину — в наши неодетые леса, где и в дневных сутемках долго ещё будет хорониться от солнца хрупкий, хрусткий под ногой снег. Рано — чуть свет — пробуждается она утром и поёт тихонько, как будто спросонья, свою тонкую, звонкую, замирающую в конце песенку. Живую

песенку, сложенную из мёртвых, чуть слышных звуков просыпающегося
весеннего леса.

Лесные оборотни

Чудесное в лесу всегда происходит незаметно, без чужого глаза. Вот сегодня: ждал я на зорьке вальдшнепа. Зорька была холодная, тихая, чистая. Высокие ели поднялись на опушке, как чёрные крепостные башни. А в низине, над ручьями и речкой, навис туман. Ивы утонули в нём, будто тёмные подводные камни.

Я долго следил за утонувшими ивами. Всё казалось, что непременно там должно что-то произойти!

Но ничего не происходило; туман с ручьёв медленно стекал к реке.

«Странно, — думал я, — туман не поднимается, как всегда, а стекает...»

Но тут послышался вальдшнеп. Чёрная птица, взмахивая крыльями как летучая мышь, протянула по зелёному небу. Я вскинул фоторужьё и забыл про туман.



А когда опомнился, — туман уже обернулся в иней! Застелил белым поляну. А как это случилось, — я проглядел. Вальдшнеп глаза отвёл!

Кончили тянуть вальдшнепы. Показалось солнце. И все лесные обитатели так ему обрадовались, будто давно-давно не видели. И я засмотрелся на солнце: интересно смотреть, как зарождается новый день.

Но тут я вспомнил про иней; глядь, а его на поляне уже и нет! Белый иней обернулся в синюю дымку; дрожит и струится она над пушистыми золотыми ивами. Опять проглядел!

И проглядел, как народился в лесу день.

Вот всегда так в лесу: что-нибудь да отведёт тебе глаза! И самое чудесное и удивительное произойдёт незаметно, без чужого глаза.

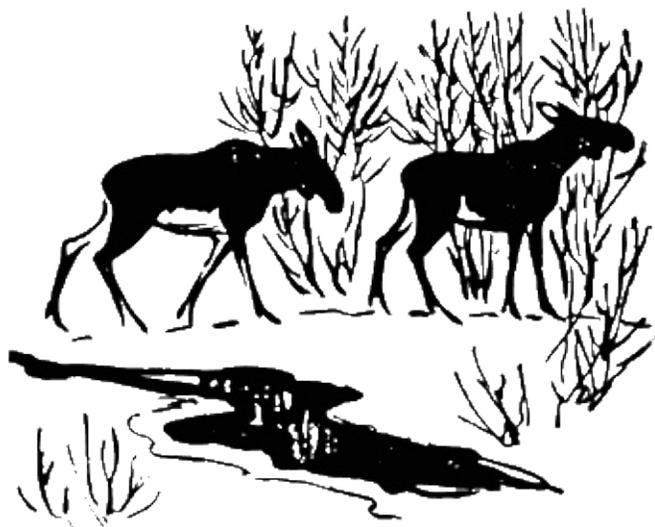
Весенние ручьи

Весенние ручьи говорят, говорят...

У каждого ручья свой голос. Один чуть шепчет, а другой звонко кричит. И каждый о своём.

Сидел я на пне у лесного ручья. Сидел и слушал. Сперва просто так бубнил ручей. А потом заговорил:

— Я лесной ручей, из лесного снега рождён. Топтали этот снег лоси да волки, зайцы-беляки по снегу прыгали, тетерева и рябчики под снегом спали. Теперь все следы растаяли, в звонкие капельки превратились. Столько за зиму всяких историй произошло, — за всю весну не перескажешь. Расскажешь — не перескажешь, расскажешь — не перескажешь...



Перебрался я к полевому ручью. Слышу, и полевой поёт:

— Зень-зень-зень! Зиме конец, конец зиме... Я ручей полевой, из полевых снегов рождён. Топтали снег зайцы-русаки да серые куропатки. Рыжая лиса мышковала — полёвок ловила. Все события на снегу отпечатались. А теперь следы растаяли, в певучие капельки обратились. Столько событий — рассказать не рассказать, рассказать — не рассказать...



Бегут, торопятся в речку ручьи разные: лесные, полевые, болотные, дорожные, деревенские, огородные. И у каждого свои рассказы: что было, что случилось, что надолго запомнилось. Говорят, говорят, говорят...

Хочешь лесные, полевые и болотные тайны узнать, — сядь у речки на бережок.

Может, чего и услышишь.

Танец весны

Май — пора птичьих песен и танцев.

Позади чужбина, позади тяжёлый полёт. Над головой майское небо, под ногами родная земля, вокруг — весна!



Грянул первый гром — всех в лесу разбудил. Крики и песни затопили лес. Загремел по лесам и полям май!

На укромном лесном болоте, подальше от чужих глаз собрались журавли. Так уж заведено у журавлей: каждую весну собираются они тут покричать и потанцевать. Скоро постройка гнезда, впереди летние заботы, а пока — танцы!

Вот он — распорядитель журавлиного бала! Он подтянут и строг. Он всё видит и слышит.

Солнце ещё за лесом, но лучи его уже осветили облака. Порозовел над болотом туман: пора начинать!

— Здравствуй, утро, солнце, весна!

Звонко откликнулось лесное эхо.

— Я приглашаю вас к танцу! Не будем нарушать обычай. На этом болоте каждую весну танцевали наши деды и прадеды. Встаньте, пожалуйста, рядом. Видите — солнце уже поднялось. Воздух полон песен. Туман скрывает нас от чужих глаз; к чему нам медлить?



И вот — первое па...

Он ещё неловок, этот первый шаг. Журавлиха стыдливо изгибает шею. Журавль слишком напряжён: кто знает, может, это первый танец в его жизни?

Всё выше солнце. Зашевелился и поднялся с болота туман. Но танцам журавлиным нет конца: вышагивают, приседают, взмахивают крыльями.

Нет, это не обычные их шаги по болоту, не разминка крыльев перед полётом, не высматривание в траве еды. По-особому переступают тонкие ноги, по-особому взмахивают серые крылья, по-особому изгибаются стройные шеи. Это танец — особый танец: танец весны!

Растерявшиеся перелески

Перелески любят на солнце смотреть. Всю весну глаз с солнца не сводят. Глаза жёлтые, ресницы белые — куда солнце, туда и глаза.

Как проснутся — так глаза на восток. И весь день, как замороженные, поворачивают головки от востока на юг, а от юга на запад. Солнце за лес — перелески ресницы смежат и спят до утра.

Весело и просто на солнце глядеть: знай только голову поворачивай.

Но однажды перелески растерялись. Солнце поднялось за тучу. В какую сторону голову поворачивать?

Растерянно смотрят золотые зрачки из-под белых ресниц. Головки повёрнуты в разные стороны. Смотрят, смотрят, а солнца и нет!

Согнулись слабые шейки. Поникли белые венчики. Глаза уставились в землю.



Нечеловеческие шаги

Ранняя весна, вечер, глухое лесное болото. В светлом сыром сосняке снег ещё кое-где, а в тёплом ельнике на бугре уже сухо. Я вхожу в густой ельник, как в тёмный сарай. Стою, молчу, слушаю.

Вокруг чёрные стволы елей, за ними холодный жёлтый закат. И удивительная тишина, когда слышишь удары сердца и собственное дыхание. Дрозд на еловой макушке высвистывает лениво и звонко. Свистнет, прислушается, а в ответ ему тишина...

И вдруг в этой прозрачной и затаившей дыхание тишине тяжёлые, грузные, нечеловеческие шаги! Всплески воды и позванивание льда. То-пы, то-пы, то-пы! Будто тяжело гружённая лошадь с трудом тянет по болоту воз. И сразу же, как удар, ошеломляющий грохочущий рык! Дрогнул лес, качнулась земля.

Тяжёлые шаги затихли: послышались лёгкие, суматошные, торопливые. Шажки лёгкие догоняли тяжёлые. Топ-топ-шлёп — и остановка, топ-топ-шлёп — и тишина. Торопливым шажкам нелегко было догнать неторопливые и тяжёлые.

Я прислонился спиной к стволу. Под ёлками стало совсем темно, и только мутно белело между чёрных стволов болото.

Зверь рыкнул опять — как из пушки грохнул. И опять охнул лес и качнулась земля.

Я не выдумываю: лес вправду дрогнул, земля вправду качнулась!

Лютый рык — как удар молота, как раскат грома, как взрыв! Но не страх породил он, а уважение к его необузданной силище, к этой чугунной глотке, извергающейся как вулкан.

Лёгкие шажки заторопились, зачмокал мох, захрустел ледок, заплескала вода. Я давно уже понял, что это медведи: дитё и мама. Дитё не поспекает, отстаёт, а мама чует меня, сердится и волнуется. Мама предупреждает меня, что медвежонок тут не один, что она близко, что лучше его не тронь. Я хорошо её понял: предупреждает она убедительно...



Тяжёлых шагов не слышно: медведица ждёт. А лёгонькие спешат, спешат. Вот взвизг тихий: медвежонка шлёпнули — не отставай! Вот шаги грузные и лёгкие зашагали рядом: то-пы, то-пы! Шлёп-шлёп-шлёп! Всё дальше, всё тише. И смолкли.

И опять тишина. Дрозд кончил свистеть. Лунные пятна легли на стволы.

В чёрных лужах вспыхнули звёзды. Каждая лужа — как распахнутое в ночное небо окно.

Жутковато шагать в эти окна прямо на звёзды. Не спеша я бреду к своему костру. Сладко сжимается сердце.

А в ушах гудит и гудит могучий зов леса.

Любитель цветов

Весной все рады цветам. За долгую зиму стосковались глаза по яркому и цветному.

Ребята в лесу собирают цветы.

Спешат на первые цветы бабочки, пчёлы и мухи.

И рябчик туда же: ива цветёт — он на иве, черника и голубика — он к ним. Зацветут незабудки — не забудет и незабудки.



Все рады цветам. Ребята складывают из цветов букеты; букеты нежны, красивы, пахучи.

Бабочки и пчёлы угощаются на цветах. Цветы для них — расписные скатерти-самобранки. Садись и веселись: и мёд, и нектар, и сок.

А рябчик цветы ест! Оказывается, они ещё и вкусны! И очень любит цветы незабудки. Наверное, у них особый, незабываемый вкус. Все любят цветы. Только каждый по-своему.



Певица

Тем хорош лес, что сколько в него ни ходи, сколько ни смотри и ни слушай, а всё увидишь невиданное и услышишь неслыханное. А увидишь и услышишь — и опять пойдёшь.

Стоял я на тяге. Уж солнце утонуло в лесу, а вальдшнеп всё медлил. И такая была прозрачная тишина, что упадёт хвоинка — и слышно, капля сока с берёзы капнет — слышно. Слышно даже, как муравьи бегут — так и топчут.

В луже лопались пузыри, таинственно и тихо: «Уук! Уук!» Это запевала жаба.

И вдруг шумная возня, шорох листьев и писк. Я прислушался. И услышал новую песню!

Будто птичка пела в кустах. Стрекотала и щебетала. Повторяла своё «ци-ци-ци» на разные лады и манеры.

Я слушал и вспоминал. Зарянка не так поёт, дрозды не так свистят. Всех птиц знаю, а такой никогда не слышал.



Я нагнулся, чтоб разглядеть, но под ольхами загустела тьма, даже видно стало свечение гнилушек. Тогда я включил фонарь. Гнилушки потухли, а там, где они голубели, выдвинулся пенёк. А на том пенёке сидела лесная мышь: усы топорщились, глаза блестели. Погасил фонарь — засветились гнилушки, слышалась песнь!

Поющая мышь — дело неслыханное.

Что ж, буду знать.

И если кто меня спросит, скажу:

— Слышишь? Это поёт мышь!

Горячая пора

Настала пора гнездо выстилать. Теперь каждое пёрышко на счету, всякая шерстинка в цене. Из-за иной соломинки целая драка.

И вот видит воробей: скачет по земле большущий клоч ваты!

Ну, если бы он лежал — другое бы дело. Тогда не зевай, налетай и хватай. Но клоч не лежит, а скачет по земле как живой!

Воробьи даже клювы разинули от удивления.



Вот клоч ваты вспорхнул вверх и сел на дерево. Потом запрыгал с ветки на ветку. Потом поёрзал-поёрзал да как подскочит, да как полетит! И летит как-то смешно: ровно-ровно, словно по ниточке, как слепой. Да сослепу-то, со всего-то разгона бряк о телефонный столб! И вывалился тут из клока ваты... воробей.

Тут уж все поняли, что не сама вата по земле скакала, не сама по воздуху летала: воробей её тащил. Такой клоч ухватил — больше себя ростом. Один хвост из ваты торчал.

Ухватить-то ухватил, да закрыла ему вата весь белый свет. Бросить жалко, а куда тащить — не видно. Вот и наткнулся на столб; нос расшиб и вату обронил. Другие воробьи сразу её утащили. Прямо из-под разбитого носа!

Пылесос

Старая история: воробей, пока не прилетели скворцы, решил скворечник занять. Напыжился, почирикал для храбрости и нырнул в леток.

Старую подстилку выносил пучками. Выскочит, а в клюве целый сноп. Разинет клюв и смотрит, как сухие травинки падают вниз.

Большие перья вытаскивал по одному. Вытащит и пустит на ветер. И тоже следит: поплывёт перо или штопором вниз закрутится?

Всё старое нужно выкинуть дочи́ста: ни соринки чтоб, ни пылинки!



Легко сказать — ни пылинки. А пылинку ни в коготках не зажать, ни клювом не ухватить.

Вот вынес в клюве последнюю соломинку, вот выбросил последнее перо. Остался на дне один сор. Пылинки, соринки, шерстинки. Кожица от личинок, перхоть от пера — самая дрянь!

Посидел воробей на крыше, затылок лапкой почесал. И в леток!

Я стою, жду.

Началась в скворечнике возня, послышалось жужжание и фырчание. А из скворечника — из всех щелей! — завихрилась пыль.

Воробей выскочил, отдышался и опять нырнул. И опять я услышал фырчание, и опять полетела пыль. Скворечник дымил!

Что там у него — вентилятор или пылесос? Ни то и ни то. Сам затрепыхался на дне, крылышками забил, погнал ветер, завихрил пыль —

сам себе пылесос, сам себе вентилятор!

Чист скворечник как стёклышко.

Самая пора свежую подстилку носить. Да поторапливаться, пока скворцы не прилетели.

Гнездо

Дрозд в развилку берёзы положил первый пучок сухой травы. Положил, расправил клювом и задумался.

Вот он — торжественный миг, когда всё позади и всё впереди. Позади зимовка в чужих южных лесах, тяжёлый далёкий перелёт. Впереди гнездо, птенцы, труды и тревоги.

Развилка берёзы и пучок травы как начало новой жизни.



Что ни день, то выше гнездо и шире. Однажды дроздиха села в него и осталась сидеть. Она вся утонула в гнезде, снаружи торчали нос да хвост.

Но дроздиха видела и слышала всё.

Тянулись по синему небу облака, а по зелёной земле ползли их тени. Прошагал на ногах-ходулях лось. Неуклюже проковылял заяц. Пеночка-весничка, пушистая, как вербный барашек, поёт и поёт про весну.

Берёза баюкает птичий дом. И на страже его — хвост и нос. Торчат как два часовых. Раз торчат, — значит, всё хорошо. Значит, тихо в лесу. Значит, всё впереди!

Сиплая кукушка

Зацвела черёмуха, и грянули черёмуховые холода. Туман на рассвете не поднялся колечком с лесной поляны, а замёрз и лёг на поляну инеем. Небо блёклое, не поймёшь, каким оно днём станет: то ли синим, то ли серым?



Тихо в лесу. Одна кукушка кукует. Все другие птицы молчат: боятся, наверное, горлышко застудить. А кукушка орёт себе с придыханием, как в берестяную дудку. Кричит и кричит своё «ку-ку»!

И докричалась.

Вечером её слышал — совсем осипла. Вместо «ку-ку» кричит: «Хы-хо! Хы-хо!»

Видно-таки, застудила горло!

Кто не слышал таких осипших кукушек? Одни говорят, что это они от собственного крика сипнут. Ведь кричат от зари до зари, а бывает, и ночью! Другие говорят: колоском, мол, подавилась. Но какие в мае колоски?

Ещё говорят, что в черёмуховые холода самые неугомонные от холода сипнут. По-разному говорят.

Про черёмуховые холода у нас тоже ведь говорят по-разному. Кто объясняет похолодание тем, что черёмуха цветёт, кто — ладожский лёд идёт. А знатоки утверждают, что в это время льды в Арктике раскалываются и сдвигаются.

Как всё-таки здорово!

Где-то в далёкой Арктике льды зашевелились, а у нас кукушка осипла. Где аукнулось — и где откликнулось!

Ласточкина дорожка

Наша деревня — в садах. Степь голая вокруг, в степи деревня. Как рощица.

У каждой хатки яблони, груши, черешни. Как зацветут весной, так и утонут белые мазанки в белых садах. Будто их и не было!

Мы и дорогу к деревне обсадили деревьями. Уходит она в степь как стрела — прямо на юг. И вся с обсадкой.

Едешь по ней летом, будто по зелёному коридору. Едешь, едешь — так прямо в нашу деревню и приедешь.

Соседи завидуют:

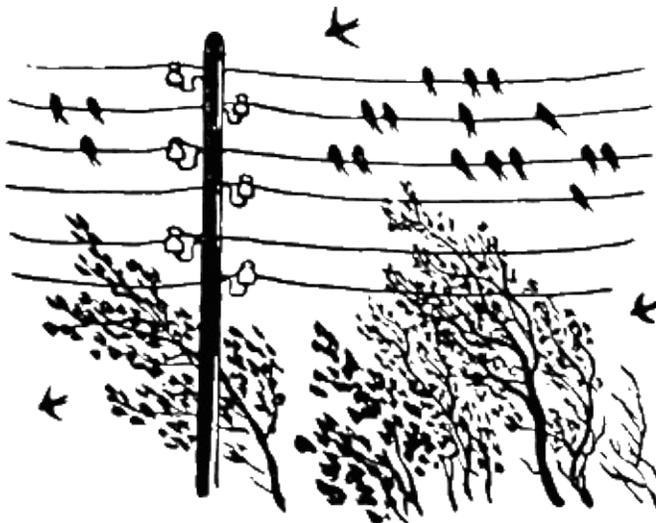
— Вам легко сады разводить, у вас климат! К вам весна раньше нашего приходит!

— Как так — раньше вашего?

— Да уж так. Ласточки её к вам раньше приносят!

Это верно. Ласточки к нам хоть на день-два, а раньше прилетят. Ни в одной деревне в округе нет ни одной, а к нам уж прилетели! Сидят на проводах, щебечут, чистят с дороги пёрышки. Мы и сами удивляемся: за что нам от птиц такая честь?

Ласточек мы не обижаем, гнёзд их не трогаем. Пичужки это проворные, щебетуньи. Словом, касатки. И комарам и мухам пощады от них нет.



Но и соседи наши ласточек не обижают, а они к ним что-то не очень торопятся.

Соседи говорят:

— Вон какая к вам дорога с юга! Чего бы по такой дороге ласточкам не быстрее лететь!

Вот чудачки! Не на колёсах же едут ласточки. Им грязь да ухабы нипочём. При чём тут дорога?

Но оказалось — при чём.

Стали мы весной смотреть: не показались ли ласточки? И видим — показались. На нашей дороге показались! В степи вокруг нет ни одной, а над дорогой над нашей так и мчат. Стайка за стайкой, стайка за стайкой. И прямо в нашу деревню.

— Вам что! — говорят соседи. — Вон летят, весну несут!

Греет солнце землю. Оживают на земле разные жучки, паучки — ползучие и летучие. Да в степи им не подняться в воздух. Ветер мчит над степью, распахнув крылья. Всё к земле жмётся.

Пусто в степи, а вдоль дороги, за обсадкой — праздник. Толкутся комары-толкунны, порхают бабочки, жужжат мухи. Ветер за обсадкой им нипочём! Домчит ветер до дороги, запутается в обсадке и упадёт.

Выходит, правы соседи. Ласточкам к нам сподручней лететь, легче нам весну на крыльях нести! Не то что к ним, по голодной степи.

Но и мы правы. Не одни ласточки весну делают. Дорогу-то мы обсадили, и сады насадили мы. Значит, тоже весне помогли.

Хорошо у нас весной! Зацветут сады — белым-бело! Утонут мазанки в белых садах, будто и нет их.

Одни ласточки над садами шныряют. Песни щебечут.

Чижик

Ласточка день начинает, соловей кончает. А между ласточкой и соловьём любит петь скворец. В песне скворчиной чего не услышишь: есть там и ласточка, есть соловей, и много других птиц. И никого это не удивляет: все знают, что скворец пересмешник.

Знали это и мы, но скворец нас удивил. Сидел он на лиловой ольшинке у дома, взмахивал крыльями и насвистывал «Чижика»! Здорово так высвистывал: «Чижик, чижик, где ты был?» Потом разная скворчиная болтовня, тягучий печальный свист, и опять бодро и весело: «Чижик, чижик, где ты был?»

Мы постучали в дверь ближнего дома. Вышел паренёк, посмотрел на нас, потом на скворца и сказал:

— Мой скворчик. Я научил.

Случилось всё так. Выпал прошлым летом из скворечни голопузый скворчонок. Мальчонка хотел его назад положить, да не смог: уж больно тонок был у скворечни шест. Стал он кормить сироту рубленым яйцом и творогом. Скворчонок быстро рос и скоро стал есть сам: кормилец за стол — приёмьш на стол, поилец за чай — скворчонок в чай. Тут обоих из-за стола долой!



Сидит кормилец в углу и «Чижика» под нос свистит. Сидит скворчонок у него на плече и прямо в рот смотрит. Сидел так, смотрел, да и сам «Чижика» выучил. И назвали за это скворчонок Чижиком.

Осенью дикие скворцы сбились в стаи и потянулись на юг.

Жалко мальчишке стало Чижика, вынес он его на луг и подпустил к дикой стайке. Прошумели птичьи крылья, и нет никого.

Долго тянулась зима. Мальчишка скучал без скворца и один насвистывал «Чижика».

А скворец его не забыл: примчался весной жив и здоров!

Слушали мы скворца до соловьиного часа. Не близка была его дорога домой: крошечная птаха и необъятный горизонт. Где, бродяжка, зиму зимовал, какие земли видел? Чижик, Чижик, где ты был?

Цена песенки

Чижа я купил за гривенник. Продавец сунул его в бумажный кулёк и подал мне.

Я посадил чижа в клетку и стал разглядывать. Зеленоватенький, шустрый, с хитрым чёрным глазком. Словом, чижик-пыжик!

Кормил я чижа берёзовыми и ольховыми серёжками да изредка просовывал в клетку свежие веточки вербы. Была зима, но дома в тепле на прутиках вербы, стоящих в банке с водой, появились «барашки». Как белые заячьи хвостики.

Чиж любил трепать клювом эти заячьи хвосты. Треплет, треплет, а растреплет — и запоёт. За окном зимняя тишина, холодина, а дома птица поёт! Юлит на жёрдочке, и из клювика её так и брызжут, так и брызжут весёлые посвисты!



Поёт по всем птичьим правилам. У людей ведь как — поели и запели. А у птиц наоборот — попели и заели. Весной в утренних суметках, когда ещё и не видно ничего, гремит мощный птичий хор. А как развиднится, — притихнет. Увидали, значит, разных там жучков и паучков.

Прожил чиж у меня год. Совсем обжился. Вскочит, бывало, на палец, устроится половчее, горлышко у него задрожит — и полетели из клюва звонкие брызги! Привык я к чижу.

И вдруг приходит тот самый продавец, у которого купил я чижа, и говорит:

— Продай чижа назад! Завтра наловлю, а мой манный чиж околел.

Продай твоего.

Я даже не поверил — как так продать?

— Да так, — говорит, — продай!

Я совсем растерялся:

— Как же я его продам, если...

— Что если, — жмёт продавец, — что если? Потратился на него? Ну так вот: платил ты за него гривенник, корма за год извёл на полтинник. Вот тебе четыре четвертака и давай чижа.

— Да я его и за червонец не отдам! — рассердился я. — Да что за червонец, даже за сотню!

— Ну и спекулянт, — свистнул продавец, — ну и хапуга! Брал за гривенник, отдаёт за сотню! За что же ты хочешь с меня ещё девяносто девять рублей девяносто копеек взять?

Я и сам удивился; и верно, за что же я хочу взять с продавца такие деньги?

Продавец плюнул и ушёл, стукнув дверью.

А я всё сидел и думал: «За что?»

Потом махнул рукой. И всё сразу встало по своим местам. В комнате пахло клейкими зелёными листиками и вербиными барашками. Барашки были уже с розовым подшёрстком и стали похожи не на заячьи хвостики, а на белые яички птиц, в которых просвечивает розовый зародыш.

И на всю комнату гремела весёлая чижиная песня: будто из клювика чижа вылетали звонкие брызги!

Казалось, не было за окном зимы, сумеречных дней, оледенелых сучьев. Был май и весна. И будто бы...

Так вот что оценил я так дорого — песенку о «будто бы»!

Фазаний букет

Фазана я подстрелил ещё осенью. Нагнулся, чтоб взять его, и не мог. Руку боюсь обжечь! Перо горит: медью, бронзой, пурпуром! Жар-птица, да и только.

Моя дочка первоклассница подняла фазана за крыло и говорит: «Ой, папа, что ты наделал!» А я уж и сам не рад.

— Фазана не оживишь, — говорю дочке, — пусть он хоть науке послужит! Давай запишем его размеры и окраску и посмотрим, чем он питается?



Зоб у фазана был туго набит насекомыми, ягодами и семенами. Всё это я разложил на отдельные кучки и стал смотреть, чем питается фазан осенью. Насекомых я определил быстро. Были там кузнечики, кобылки и муравьи. Ягоды тоже узнать было нетрудно — одна лиловая ежевика. А вот семена — беда! Попробуй-ка определи, от каких они растений! Жаль было, но пришлось семена ссыпать в спичечный коробок и положить в стол. Написал я на коробке «семена» и оставил до лучших времён. Может, найдётся специалист, определит.

Прошла зима. Только к весне вспомнил я про коробок с семенами. Открыл коробок — пусто! Спрашиваю дочку:

— Ты взяла семена?

— Это те, что в коробке как погремушки стучали?

— Те самые, что стучали.

— Я взяла. Я их в горшок с землёй посадила. У нас в классе сейчас все опыты делают — семена сажают.

Я подумал, подумал и не стал ругать дочку. Даже ещё и похвалил.

«Молодец! — говорю. — Прорастут семена — вырастут в твоём горшочке разные растения, может, даже и цветы. Вот мы и узнаем, какие семена клевал фазан! Без специалиста обойдемся. Послужит наш фазан науке».

Дочка, конечно, все мои слова мимо ушей пропустила, только про цветы запомнила. Наклеила на горшочке с семенами ярлычок. И на ярлычке печатными буквами написала: «Фазаний букет».

Болотное стадо

На темнорьке мы с подпаском Мишей были на болоте. Темнорьку — миг, когда утро побеждает ночь, — в селе угадывал только петух. Темнота ещё — глаз коли, а петух вытянет шею, насторожится, что-то услышит и прокричит.

А в лесу темнорьку объявляет птичка-невидимка. Проснётся и завоится в ветках. Потом ветерок в вершинах шевельнётся. И пойдёт по лесу шорох и шёпот.

И вот, когда на селе прокричал петух, а в лесу проснулась первая птичка, Мишка сказал:

— Сейчас пастушок своё стадо выведет на болото, на цвелую воду.

— Что у кого болит, тот о том и говорит! — дразню я Мишу.

— Нет, — возражает Миша, — я не о колхозном пастухе, я о болотном.

И тут в тёмных кустах и осоке раздался резкий и сильный посвист. Видно, свистит пастух, заложив два пальца в рот, бодрит свистом своё стадо. Да только там, где он идёт, топь страшная, вода цвелая, земля зыбкая. Пути там нет.

— Болотный пастух, — шепчет Миша.

— Бэээээ! Бээээээ! Бэээээ! — заблеял жалобно барашек. Уж не увяз ли в зыбкой топи?

— Нет, — смеётся Миша, — этот барашек не увязнет. Это болотный барашек.

Бык замычал глухо — видно, отстал от стада.

— Ой, пропадёт в трясине!

— Нет, — успокаивает Миша-пастух, — это болотный бык.

Уж и видно стало: туман серый шевелится над чёрной кугой. Свистит в два пальца пастух. Барашек блеет. Бык ревёт. А никого не видно!

— Болотное стадо-то...

— Терпи, — шепчет Миша, — увидим.



Посвист всё ближе. Во все глаза гляжу туда, где в сером тумане шевелятся тёмные силуэты куги — болотной травы.

— Куда смотришь? — толкает в бок Миша. — Вниз смотри, на воду.

И вот вижу: шагает по цвело́й воде птичка-невеличка, со скворца, на высоких тонких ножках. Остановится на кочке, приподнимется на длинных пальчиках да как свистнет! Так свистнет, ну, в точности пастух!

— За такой свист и прозван пастушком-погоньшем, — смеётся Миша.

Тут и я повеселел: видно, и всё стадо болотное-то по пастуху.

— По пастуху и есть, — кивает Миша.

Слышим: шлёпает ещё кто-то по воде. Видим: выходит из куги большая птица, неуклюжая какая-то. Нос длинный. Сунула птица нос в воду и... заревела быком!

— Выпь! Болотный бугай!

Тут уж я и про барашка смекнул. Это же бекас-долгонос! Летает он над болотом то вверх, то вниз, жёсткие пёрышки у него в хвосте на ветру дребезжат и блеют. Охотники так и зовут его — барашек. И я ведь знал, да темнозорька в обман ввела.

— Стреляй, Миша, — смеюсь я, — свали барана.

— Ружьё у меня харчистое, — говорит Миша, — заряд в нём большой, на болотную мелюзгу тратить жалко. Пусть пасутся себе.



Дятел

Шёл я просекой. Вдруг слышу — стучит! На пути сухое дерево. Я к дереву — никого! Посмотрел наверх — дупло. А внизу, под сухостоиной, свежая посорка. Дятел старается!

Только старается он не на дереве, а в дереве. На сушине козырьком гриб-трухляк. Под грибом дупло, как слуховое оконце. Ударил я каблуком по дереву, — в слуховое оконце высунулась носатая голова в красной тубетейке.

— Здравствуй, помощник!

Люблю я дятлов.

Дятлы поедают много разных вредных короедов, нам, лесникам, помогают. Увидел меня дятел, испугался и улетел.

Нелегко дятлу носом своим, как топором, вырубить в сухом дереве дупло для гнезда. А тут мешают ещё!



Я больше дятлу не мешал. Но покоя ему не было. То вихрь раскачивал сухостоину. То косой ливень заливал дупло. А однажды забралась в дупло лупоглазая белка-летяга. Дятел кричал, прыгал у дупла, а летяга спокойно смотрела на него большими птичьими глазами из оконца под грибком.

И только когда я палкой стукнул по сухостоине, летяга выскочила и полетела, как кленовый лист, распластавшись в воздухе.

Каждый раз, шагая по просеке, я прислушивался: стучит ли? И слышал: стучит! Стук стал совсем глухой, видно, дятел долбил уже глубоко. А под деревом всё росла и росла кучка жёлтой посорки. И уже

теперь, когда я стучал сапогом по сушине, дятел не улетал, а только выглядывал. Тюбетейка у него была засыпана трухой.

Однажды, проходя просекой, я увидел ястреба-перепелятника. Он промчал над самой моей головой и вдруг закружил вокруг сухостоины, шаркая крыльями по коре. А по сушине, спасаясь от ястреба, заметался мой дятел. Дятел в дупло, ястребок — хватать! И, видно, цапнул! Полетели пёрышки. Я выстрелил, и разбойник упал. А дятел выпорхнул из дупла и прицепился на соседнее дерево. Он нахохлился и спрятал клюв в перья. Белые пёрышки на крыле покраснели от крови. Выживет ли?

Назавтра, шагая по просеке, я ещё издали наострил ухо. И слышу: стучит!

На радостях я так грохнул сапогом в сушину, что она качнулась.

В окошке под грибком показалась знакомая носатая головка в красной тюбетейке. Работяга весь был в древесной трухе. Он сердито покосился на меня одним глазом, качнул носом — будто чихнул. Видно, труха в ноздри набилась.

— Будь здоров! — крикнул я дятлу.

Дятел нырнул в дупло и застучал опять. Ему было не до шуток. Он спешил закончить своё гнездо.

Будет у меня летом целая семья помощников.

Птенцы-хитрецы



Жил я в лесу. Один-одинёшенек.

Скучно одному. «Хорошо бы, — думаю себе, — хоть щеночка завести. Весёлого, ласкового. Учил бы его уму-разуму. Вот скуки бы и не было».

В лесу щенков нет. Собрался я в деревню. Дорога туда была неблизкая. Вышел из лесу, пошёл полев. Шёл-шёл — устал. Присел отдохнуть.

Говорящие яйца

Хорошо летом в поле! Кругом рожь шелестит. Вдруг слышу: будто плачет кто-то тихонько во ржи...

Раздвинул колосья, а там целое лукошко яиц! Лукошка-то, правду сказать, никакого нет, — прямо на земле яйца лежат, в ямке. И много их: двадцать штук я насчитал!



Лежат и — вот чудеса! — переговариваются. На птичьем языке — пискком.

— Пик! — скажет одно яичко.

— Пик-пик-пик! — отвечают другие. Осторожненько взял я одно яйцо и приложил к уху.

«Пи-ик!» — испугалось яичко. Потом что-то ворохнулось в нём, тюкнуло изнутри в скорлупку — и притихло.

Ясно: в яйце готовый цыплёночек! Гнездо — я знал это — красивой полевой курочки — серой куропатки. Куропатка-мама куда-то пропала. Может быть, ушла надолго. А может быть, и совсем не вернётся: где-нибудь ястреб её подхватил или хорёк поймал. Птенчики и волнуются. Пищат. Чувствуют, что пропадут без мамы.

Положил я обратно яйца. Задумался: что сделать?

Верно ведь: выключутся — непременно пропадут они. Сколько кругом врагов-то!

Надумал: никакого мне щенка не надо! Сбегаю домой, принесу корзиночку, сложу в неё яйца. Будет у меня целых двадцать цыпляток — жёлтеньких, прехорошеньких. Кормить их буду, учить уму-разуму. Какая уж тут скука с ними!

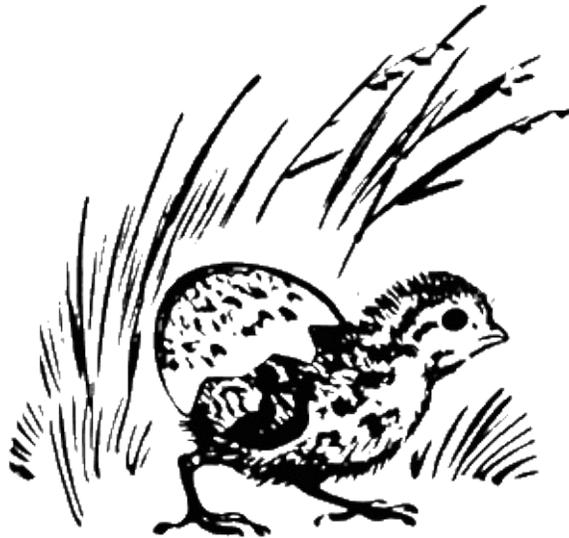
— Пик! — тревожно пискнуло в одном яйце.

— Пик-пик-пик-пик! — тревожно отозвалось в других.

Боятся, бедненькие, одни, без мамы! Надо спешить.
— Не плайте! — крикнул я им. — Живо прибегу, заберу вас к себе домой.
И побежал к себе в лес — за корзиночкой.

Яйцо на ножках

Прибегаю назад — нет в ямке яиц, одни пустые скорлупки лежат!
А из ржи с треском и шумом вырвалась вдруг красивая курочка с шоколадной подковой на груди. Взлетела, пала на дорогу — и побежала по ней, волоча по земле крылья.
— Знаю вас, знаю! — крикнул я ей. — Не обманешь!
Это была, конечно, куропатка-мама; они всегда так притворяются, чтобы отвести человека подальше от своих птенчиков.
— Очень рад, что тебя никто не съел. А одного сынка я всё-таки возьму у тебя, чтобы мне в лесу не так скучно было одному.
Я посмотрел себе под ноги. Там во ржи лежало одно только целое яичко.



Я нагнулся, чтобы взять его. Но яичко вдруг вскочило на ножки и побежало!.. Я даже руку отдернул от неожиданности. Потом кинулся его ловить, схватил... но в руке у меня осталась только сломанная скорлупка.
Просто это половина скорлупки прилипла к влажному пуху птенчика. Куропатка-мама ещё не успела склюнуть её с сынка, он так и бегал со скорлупкой на спине. Я освободил его от скорлупки, он шмыгнул от меня в густую рожь, только я его и видел!

Под шапкой-невидимкой!

— Ну, этим птенчикам я не нужен! — решил я. — Боевые ребята. Пойду-ка к себе в лес: там, наверно, найдутся какие-нибудь бесприютные птенчики, которые могут пропасть без моей помощи. Пойду поищу.

Пошёл в лес.

В сухом ельничке с муравьиной кучи свечой взлетел рябчик. Во все стороны с кучи — как шарики — покатались крошечные рябчата. Они были в пуху и летать ещё не могли.

У меня глаза разбежались: кого ловить?! Кинулся за одним, кинулся за другим, в третьего шапкой бросил — и всех упустил!

Рябчата затаились — будто шапки-невидимки надели.

— Ладно, — думаю, — ваше счастье, что вы так хорошо умеете прятаться! — И пошёл поднимать свою шапку.

Глядь, — а под ней два рябчонка лежат рядышком!

К земле прижались, глазёнки зажмурили, будто они и в самом деле под шапкой-невидимкой.

Я их — цоп!

Держу в руке и думаю: «А остальных как найду?.. Давай-ка я этих двух к тем подпущу: они побегут прятаться к своим — и покажут мне, где они».

Выпустил одного. Он ножками — чик-чик-чик! — отбежал, к земле припал и листком сухим накрылся, будто его тут и не бывало! Рукой случайно не тронешь, — ни за что не найдёшь. А других рябчат рядом не видно...

Выпустил я второго. Думаю: «Может, этот покажет?»

А он даже и не побежал. Тут же припал к земле и пропал: не то комок земли лежит, не то кусок коры.



Я понял: значит, и остальные так — кто комочком, а кто под листочком. Такой пушок у них — защитного цвета. Выходит, не шапка у них, а вся одежда невидимка!

Что тут делать? Комочков земли да листочков сухих вокруг меня не счесть сколько. Всех их руками не перещупаешь! Тронешься с места, — того и гляди, всех рябчат сапогами передавишь... Как тут быть?

Присел я на пенёк. Разулся. Потом осторожно опустился на колени, ладонью впереди себя пощупал, каждый листик перевернул пальцами.

Немногок вперёд продвинулся — опять пощупал.

Да так из ельничка и ушёл — на четвереньках.

Водолаз-подводник

Дополз до поляны на четвереньках — там стал на ноги.

«Ну, — думаю, — ни полевым, ни лесным птенчикам я не нужен. Эти отлично и без меня проживут. Пойду у озера гнёзд поищу, — вон под горой меж деревьев вода виднеется».

Спустился с горки, пошёл по берегу, смотрю — в воде на кочке чёмгину гнездо. В гнезде — пустые скорлупки и один птенчик.

Птенчик такой махонький, что не может ни стоять ни сидеть. Лежит на пузечке, вытянув вперёд шейку, и беспомощно растопырил лапки.

Я опрокинул его пальцем на спину. Малыш засучил ножками, силясь перевернуться. Наконец это ему удалось, но он скатился на край гнезда... и бульк в воду! Как камешек. И пропал, — только круги пошли...

Я живо раздвинул траву и, прикрыв глаза рукой от яркого блеска воды, глянул в глубину.



Птенчик держался там под водой носом за камышину и не двигался.

Я сунул руку на дно, чтобы подхватить и спасти его. Но он оттолкнулся носом от камышины — и быстро поплыл под водой, работая лапками и культипочками-крыльями. Точно сон вижу: птичонок как ни в чём не бывало плыл под водой!

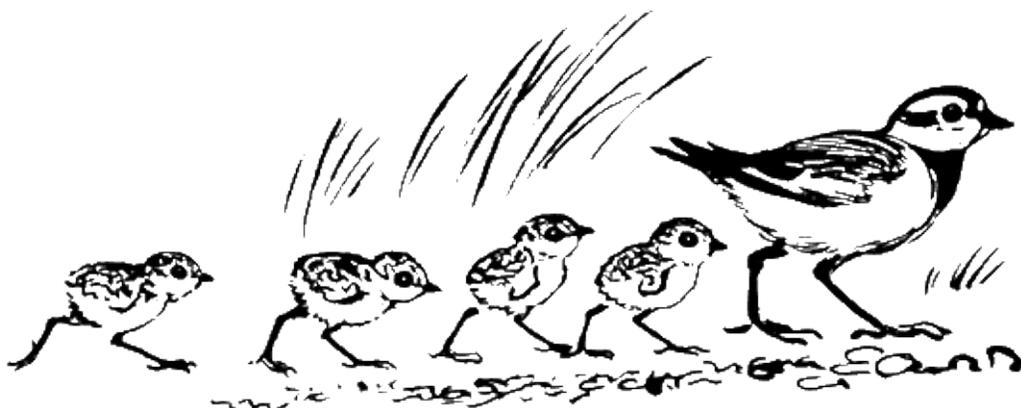
Проплыл порядочное расстояние до того места, где стеной стоял камыш, и выскочил из воды. Смотрю — а там всё его семейство: чомга-мама и птенчики, мал мала меньше!

«Вот это, — думаю себе, — малыши так малыши! Водолазы-подводники. Птичонок ещё ходить не умеет, стоять не умеет, а плавать и нырять — пожалуйста!»

Семейство чомг под предводительством чомги-мамы скрылось у меня из глаз в густых тростниках. А я пошёл дальше по берегу озера.

Послушный малыш

Смотрю, — впереди меня бежит жёлтенький куличок — зүйк-галстучник. За ним торопятся четыре зуйчонка величиной с напёрсток, на высоких ножках.



Путь зуйкам пересекла узкая лужица. Зуйчиха на крылья — и перелетела воду. А у зуйчат ещё и крыльев нет — один пух! А всё равно и они не остановились: мах-мах ножками по воде, как по песку! Такие лёгкие, что и вода их держит. Я даже вскрикнул от удивления.

Зуйчиха-мама оглянулась на меня с того берега лужи и негромко сказала своим зуйчатам: «Пи-у!» («ложись!»).

Трое зуйчат были уже на том берегу лужи. Услышав материнскую команду, они разом припали к земле и пропали из глаз: их серо-жёлтые спинки слились с жёлтым песком и серой галькой.

А четвёртый зуйчонок не успел перебежать лужу — и плюхнулся прямо в воду. Только головка его была на песке, а всё тельце — в воде; он лёг там, где его застала команда «пи-у!» («ложись!»).

Я перешагнул лужу, сел на камень рядом с послушным птенчиком.

«Дай, — думаю себе, — дождусь, что он дальше будет делать».

Птенчик лежал не шевелясь. Было ему плохо: вода холодная, пушок намок, пальчики упирались в камешки на дне лужи, но он не шелохнулся. Даже чёрные бусинки-глазки не моргали. Мама велела лечь, и он послушно лежал.

Я сидел долго, так долго, что у меня нога затекла. Я шаркнул ею около самого носа зуйчонка, но он не шевельнулся.

Комары одолели. Один комар сел зуйчонку на голову, проткнул ему носом кожу и стал толстеть, наливаясь кровью. На крошечной головке птенчика он казался чудовищем и всё рос, рос на глазах, наполнял брюхо алой кровью зуйчонка.

Зуйчонок терпел, чуть прижмурился от боли глаза, и не трогался с места.

А моё терпение лопнуло. Я наклонился и щелчком сшиб комара с

бедного птенчика. Потом взял птенчика двумя пальцами поперёк тельца и поднял к своим губам.

— Полно тебе в прятки играть! — сказал я ему. — Беги — догоняй маму.

Но он не ворохнулся, не моргнул. И остался всё так же неподвижен, когда я положил его на песок — подальше от воды.

«Уж не умер ли он?» — с тревогой подумал я. И вскочил с камня.

Это моё движение испугало зуйчиху-маму, скрывавшуюся где-то в камнях дальше по берегу.

— Кру-кру! — крикнула она оттуда. («Вскакивай! Беги!»)

В один миг вскочили на ножки все четыре зуйчонка и — чик-чик-чик! — стремглав понеслись к маме.

Чур-чур!

— Ну-ну! — сказал я себе. — Если б я так свою маму слушал в детстве, так, верно бы, из меня вышел толк.

Куда уж мне учить таких...

И пошёл домой через большое лесное болото.

Шагаю да шагаю. Вдруг вижу: далеко впереди поднялся с кочки большой журавль и, как-то смешно пригнувшись, убежал в кусты.

Я сразу сообразил, что это не журавль, а журавлиха и что на той кочке у неё гнездо.

Подошёл к кочке — верно; в кочке — углубление, и в нём на подстилочке из травы лежат два здоровых пятнистых яйца, каждое с мою ладонь. Одно целое, а другое с дыркой наверху. И рядом лежала толстая скорлупка: птенец, видно, сию минуту только сделал себе в яйце окошко.

Я так и замер на месте: что дальше будет?



Вдруг из окошка высунулась взъерошенная голова на тонкой шее и покрутила носом.

Мир, в котором журавлёнок собирался родиться, был полон солнца и яркой зелени.

— Привет тебе, привет! — громко поздравил я его. — Ну, как тебе здесь у нас, нравится?

Журавлёнок беспокойно заёрзал, но, видно, не понял, что я стою рядом и разговариваю с ним.

Тогда я наклонился к нему. Моя тень накрыла гнездо. И вдруг — нырк! — журавлёнок исчез в яйце. В гнезде по-прежнему лежали два очень крупных яйца: одно — целое, другое — с дыркой в скорлупе.

— Вот это здорово! — удивился я. — Не успел ещё на свет родиться, а уж в прятки играет! Чур-чура: я дома!

Вспомнились мне тут говорящие яички серой куропатки, и я подумал: «А может, они тогда не со страха пикали, а между собой стоваривались, как от меня ловчее удрать? И ведь удрали! Видно, птичата, ещё не родясь из яйца на свет, мастера в прятки играть. А я их уму-разуму учить собрался!»

Размахнулся я корзиночкой, что была у меня приготовлена для будущих моих воспитанников-птенчиков, и закинул её далеко в траву.

А сам пошёл в деревню — щеночка себе доставать.

Щенок ни прятаться не умеет, ни плавать. И непослушный. Вот и буду его учить.

Трясогузкины письма

У калитки в сад прибит почтовый ящик. Ящик самодельный, деревянный, с узкой щелью для писем. Почтовый ящик так долго висел на заборе, что доски его стали серыми и в них завёлся дровоточец.

Осенью залетел в сад дятел. Прицепился к ящику, стукнул носом и сразу угадал: внутри дровоточина! И у самой щели, в которую опускают письма, выдолбил круглую дырку.

А весной прилетела в сад трясогузка — тоненькая серенькая птичка с длинным хвостиком. Она вспорхнула на почтовый ящик, заглянула одним глазком в дыру, пробитую дятлом, и облюбовала ящик под гнездо.

Трясогузку эту мы прозвали Почтальоном. Не потому, что она поселилась в почтовом ящике, а потому, что она, как настоящий почтальон, стала приносить и опускать в ящик разные бумажки.



Когда же приходил настоящий почтальон и опускал в ящик письмо, перепуганная трясогузка вылетала из ящика и долго бегала по крыше, тревожно попискивая и качая длинным хвостиком. И мы уже знали: тревожится птичка — значит, есть нам письмо.

Скоро вывела наша почтальонша птенцов. Тревог и забот у неё на целый день: и кормить птенцов надо, и от врагов защищать. Стоило теперь почтальону только показаться на улице, как трясогузка уже летела ему навстречу, порхала у самой головы и тревожно пищала. Птичка хорошо узнавала его среди других людей.

Услышав отчаянный писк трясогузки, мы выбегали навстречу почтальону и брали у него газеты и письма; мы не хотели, чтобы он

тревожил птичку.

Птенцы быстро росли. Самые ловкие стали уже выглядывать из щели ящичка, крутя носами и жмурясь от солнца. И однажды вся весёлая семейка улетела на широкие, залитые солнцем речные отмели.

А когда пришла осень, в сад опять прилетел бродяга-дятел. Он прицепился к почтовому ящичку и носом своим, как долотом, так раздолбил дыру, что в неё можно было просовывать руку.

Я просунул руку в ящик и вынул из ящичка все трясогузкины «письма». Были там сухие травинки, обрывки газет, клочки ваты, волосы, фантики от конфет, стружки.

За зиму ящик совсем одряхлел, для писем он уже не годился. Но мы его не выбрасываем: ждём возвращения серенького Почтальона. Ждём, когда он опустит в наш ящик своё первое весеннее письмо.

НОВЫЙ ГОЛОСОК

Три яичка лежали в гнезде чайки: два неподвижно, а третье шевелилось. Третьему не терпелось, оно даже посвистывало! Будь его воля, оно бы так и выскочило из гнезда и, как колобок, покатило бы по бережку!

Возилось яичко, возилось и стало тихонько похрустывать. Выкрошилась на тупом конце дырочка. И в дырочку, как в оконце, высунулся птичий нос.

Птичий нос — это и рот. Рот открылся от удивления. Ещё бы: стало вдруг в яйце светло и свежо! Глухие доселе звуки зазвучали властно и громко. Незнакомый мир ворвался в уютное и скрытое жилище птенца. И чайчонок на миг оробел: может, не стоит совать свой нос в этот неведомый мир?

Но солнце грело ласково, глаза привыкли к яркому свету. Качались зелёные травинки, плескали ленивые волны.

Чайчонок упёрся лапками в пол, а головой в потолок, нажал, и скорлупа расселась. Чайчонок так испугался, что громко, во всё горло крикнул: «Мама!»

Так в нашем мире одной чайкой стало больше. В хоре голосов, голосищ и голосишек зазвучал новый голосок. Был он робок и тих, как писк комара. Но он звучал, и его слышали все.



Чайчонок встал на дрожащие ножки, поёрзал шерстинками крыльев и смело шагнул вперёд: вода так вода!

Минует ли он грозных щук и выдр? Или путь его оборвётся на клыках

первой же хитрой лисы?

Крылья матери-чайки распластались над ним, как руки, готовые прикрыть от невзгод.

Покатил в жизнь пушистенный колобок.

Приёмышы

Я сидел на озере, задвинув лодку в тростник.

Был полдень — тихий и сонный. По зелёным тростникам лениво ползли золотые солнечные колечки. Как хорошо!

В тростнике зашуршало. Кто-то продирался сквозь тесные стёбли.



Вот дрогнули тростники — высунулся плоский нос. Тотчас и по носу, как по тростнику, заколыхались солнечные колечки. Утка!

У всех уток всегда деловой, ужасно занятой вид. Но эта маленькая утица — с носом в колечках, с ярко-зелёными зеркальцами на крыльях, — эта чируша была сама озабоченность. Она тихо крякнула и, упираясь перепончатыми лапами, продиралась вперед, на чистую воду. За ней гуськом, по пробитой дорожке, торопились пуховые утята — хлопунцы лапчатые.

Последний — самый маленький — отстал. Заспешил, подскочил — и попал шейкой между двумя стеблями тростника, заклинился и повис в воздухе. Запищал отчаянно и лапками зашлёпал по воде.

Утица, хлеща жёсткими крыльями по воде, ринулась назад. Схватила утёнка носом за мягкую шейку, подняла и понесла на чистую воду. Глупыш и в материнском клюве пищал и дрыгал ногами.

Много, ох, много трудов приняла утица, пока вывела своих утят из болота, где было её гнездо, на открытый плёс. Вот и последнего брыкуна вытащила и пустила на воду. Сама окунула головку, вскинулась столбиком, забила в воздухе крыльями — и закрякала что-то своё, утиное, радостное...

Да вдруг так столбиком и ушла вниз, под воду, — захлебнулась на утином полслове.

Утята захопали по воде культяпочками и бегом — лапками по воде — помчались в тростники.

А там, где исчезла утица, звонко, как ладонью, хлопнул по воде рыбий хвостик — и побежали, побежали по воде круги до самого того места, где я сидел. Сердито застучали тростники друг о друга, будто костяные палочки.

Вот так сомище!

Бедные юнцы-хлопунцы! Как без утицы будете? Кто сигнал тревоги подаст, кто под крылом согреет? Кто за шейку из беды вытащит?

Завозился я в лодке, шлёпнул веслом по воде, — хоть напугать губатого обжору!

И вдруг радостный утиный крик!

Утица чируша стоит на воде, крыльями бьёт и кричит, кричит! Только это другая утица, не та...

Она тоже вывела хлопунцов своих на широкую воду — вот и празднует, и кричит от радости. И хлопунцы другие: совсем ещё маленькие. Плоские носики на зобок уложили; щёчки пухленькие, в жёлтом пушке.

Утица — один глаз в небо — не летит ли хищный лунь? — другой вниз — нет ли под водой сома? Оглянулась по сторонам, помолчала немножко. Крикнула — и поплыла вдоль стены тростников.

И утята за ней гуськом, один за другим. И все вниз, в воду смотрят: первый раз себя в зеркале увидели. Увидели — и сами себе очень понравились.

«Где-то сейчас те сироты-утята?» — подумал я.

А они тут как тут! Выплывают из тростника, культяпочками по воде бьют — спешат вдогон за утицей.

Вот догнали, пристроились к её утятам в хвост — тоже гуськом, один за другим. Только росточком чуть побольше, а то бы и не отличить.



Утица задержалась, повернула назад. Каждого утёнка носом тронула, будто пересчитала. И то ли в счёте она слаба, или тут другое что, — только не прогнала она чужих утят. Сказала им что-то по-своему, по-утиному, и вся большая семья — свои и приёмьши — скрылась в тени нависшего над водой куста ольхи.

Тихая волна от утицы с утятами еле дошла до тростников, где я сидел. По зелёным тростникам снизу вверх — до самых серебряных метёлок — наперегонки побежали улыбчивые золотые солнечные колечки. Ай да утица — плоский нос!

Как хорошо!

Поганчики

Ловил я на озере рыбу. Тростники тревожно стучали друг о друга, как костяные палочки.

Быть дождю!

Я стал собирать удочки.

Вдруг вижу: из густого чакана — озёрной травы — выплывают на чистую воду поганки. Поганка-папа, поганка-мама и крошечные — с жука — поганчики. Поганка, по-учёному — чомга, скрытная птица, не всегда её увидишь.

Я задержался.

Чомга-папа выплыл на середину плёса, насторожил глаз в небо — нет ли луны? — встал на караул. Чомга-мама забила крыльями, забарахталась в воде, будто курица в пыли. Да вдруг и ушла под воду.

Чомги похожи на маленьких уток, чирков, только клюв у них не плоский, как у уток, а тонкий и острый; а уж нырять и плавать, как чомги, не сможет ни одна утка.

Нет поганки-мамы! Мохнатенькие поганчики, как чёрные жуки-вертячки, закружили по воде. Попробовали они и нырять, но были такие лёгкие, что тотчас выскакивали из воды, как пробки.

Вынырнула мама, Поганчики успокоились и стали играть в пятнашки, шлёпая по воде крыльями-культяпками.

Но не зря тревожно стучал тростник. Прорвался ветер, погнал волну с гребешком. Начали лёгкие поганчики на гребешках переворачиваться. Перевернётся — и стучит в воздухе своими лягушечьими лапками. Плохая игра получается.

Поганка-мама насторожила тонкую шейку и что-то сказала, а что — за ветром не было слышно. Поганчики все к ней, окружили её со всех сторон да вдруг и полезли к ней на спину! Лапками чик-чик, культяпочками мах-мах и — ловкачи какие! — забрались. Да ещё и в перья забились, одни головки чёрные торчат. Сидит на воде многоголовая птица.



Тепло поганчикам в перо, сухо и не дует. А не сидится! Копошатся, выглядывают, — видно, проголодались после купанья.

Мама-чомга опять что-то сказала. Мне не слышно, а чомга-папа услышал. Клюнул он носом воду и ушёл на дно. Теперь чомга-мама встала на караул, насторожила глаз в небо.

Вынырнул папа, в клюве что-то держит. Видно, вкусненькое — поганчики вытянули навстречу шейки. Папа-чомгич сунул вкусненькое в разинутый роток крайнего поганчика, а сам опять на дно. И до тех пор нырял, пока всех не накормил.

Сытые чомгята с головой спрятались в перо на спине. Спина у чомги-мамы стала горбиком.

Я так загляделся, что совсем забыл, о чём стучали тростники. Вдруг вся вода вспыхнула — сверкнула молния. Ударили тяжёлые капли, запрыгали по воде фонтанчики.

Хлынул дождь. Поганки заспешили в тростники. Мама за папой, как два одинаковых парходика. Только у заднего парходика на спине горбок. Потому что не простой это парходик, а пассажирский.

Чомги спрятались от дождя. А я промок.

Ну да и что за рыбак, коли сухой!

Весёлая игра

Притащила лиса лисятам мышей на обед. А лисята — сыты — давай с мышами играть. Двое одну мышь схватили — тянут-потянут. А один сразу трёх мышей в пастишку — хап! Только хвостики висят.

Играли, пока надоело. Тогда мышей бросили — в нору залезли. Легли у выхода, мордочки на передние лапки положили — смотрят из тёмной норы на светлый мир. И видят: прилетели к норе мухи. Закружили, зажужжали. За мухами — птичка трясогузка. Тоненькая такая, серенькая. Хвостиком качает и ножками семенит. Пробежит и остановится, пробежит и остановится. А остановится — и закачает хвостиком. На мух смотрит.

Съёжились лисята. Трясогузка вправо, и лисьи глаза вправо, трясогузка влево — глаза влево. Так и перекатываются.

Лисята как выскочат! Чуть-чуть птичку не поймали.



Опять в нору забились — караулят.

Опять слетелись мухи. За мухами — трясогузка. У самой норы хвостиком дразнит.

Лисята как выскочат — чуть не поймали!

Тут уж и не поймёшь: игра это или охота?

Вот в который раз выскочили — и опять зря. Сбились в кучку. А сверху, с синего неба, нависла тень, заслонила солнце.

Кинулись лисята разом в нору — еле протиснулись.

Это орёл их припугнул.



Видно, ещё молодой орёл, не бывалый. Тоже, наверное, играл — у всех зверят да у птиц все игры в охоту. Только игрушки у всех разные. У одних — мыши, у других — лисята. Играй, да поглядывай!

А удобная это игрушка — мышь. Хочешь, в охоту с ней играй, хочешь — в прятки. А надоело — хап! — и съел.

Пищухин вальс

Пищуха танцевала вальс. Маленькая птичка — носик шильцем, хвостик подпорочкой — кружила на коре толстой ели. Легко два раза прыгала вверх, потом склоняла головку к плечу, касалась носиком ножки и вдруг поворачивалась вокруг себя! Прыжок, склонённая головка, клювик и ножка, быстрый поворот. Раз за разом, круг за кругом, фигура за фигурой. Шуршали по коре тонкие коготки и жёсткие пёрышки. Пищуха неслась в вальсе. Когда видишь никогда до того не виданное, то хочется только смотреть. Но погода хочется всё понять. Почему пищуха танцует вальс? Птичка эта скрытная и малозаметная. Не мудрено, что танца её никто раньше не замечал. Но что за радость у неё сегодня, отчего она так ловка и быстра, почему так блестит чёрный глазок? Ведь по-вчерашнему светит солнце, ни жарко ни холодно, всё те же вокруг травы и листья.



Я вглядываюсь в еловый ствол и внизу, у самой земли, вижу узкую тёмную щель. Так и есть: в щели гнездо, в гнезде птенцы! Но не от радости птичка танцует. Пищуха видит меня, и страх сжимает её крохотное сердчишко. И она танцует от страха... Прыжок вперёд, головка к плечу, носик к ноге, быстрый поворот. Раз за разом, поворот за поворотом, фигура за фигурой. Шуршат коготки, блестят глаза. Птичка танцует пищухин вальс — танец страха.

Серьёзная птица

В лесу у болота колония цапель. Каких только цапель нет! Большие и маленькие: белые, серые, рыжие. И дневные, и ночные.

Разные цапли по росту и цвету, но все очень важные и серьёзные. И больше всех важна и серьёзна цапля-кваква.

Цапля-кваква — ночная. Днём она отдыхает на гнезде, а ночью ловит на болоте лягушат и рыбьих мальков.

Ночью на болоте ей хорошо — прохладно. А вот днём на гнезде — беда. В лесу духота, солнце печёт. Кваква сидит на краю гнезда, на самом припёке. Клюв от жары разинула, крылья широкие свесила — совсем разомлела. И дышит тяжело, с хрипом.

Подивился я: серьёзная на вид птица, а такая глупая! В тень спрятаться — и на то ума не хватает. И гнездо построила кое-как — у птенцов ноги в щели проваливаются.

Жара. Хрипит на припёке, разинув клюв, кваква. Медленно движется по небу солнце. Медленно передвигается по краю гнезда кваква...



И вдруг кровь ударила мне в лицо — так стало стыдно. Ведь кваква телом своим птенцов от жгучего солнца закрывала!

Птенцам ни холодно ни жарко: сверху тень, снизу в щели гнезда

ветерок поддувает. Сложили они длинные носы свои один на другого, ноги в щели свесили и спят. А как проснутся и есть запросят, кваква полетит на болото ловить им лягушат и мальков. Накормит птенцов и опять на гнездо сядет. Носом по сторонам водит — караулит.

Серьёзная птица!

Три яичка



Шёл я по лесу. Вижу: лежит на земле яичко. Яичко как яичко: беленькое, круглое, небольшое.

«Что, — думаю, — за птица это яичко снесла? Хоть бы посмотреть на неё!»

Посмотрел я вокруг — нет никого. Заметил тогда я место и дальше пошагал.

По лесу ходить — не по панели шагать. Под ноги смотреть надо. А я всё по сторонам глазею. Вот и споткнулся о кучу прелых листьев.

Поднялся и вижу: белеется в листьях ещё яичко! Тоже белое, продолговатое, небольшое.

Я листьями яичко прикрыл, место заметил. И дальше пошагал. И хоть по делу иду, а не могу по сторонам не глазеть!

Бабочки из цветочных вазочек нектар пьют. Кузнечик собственной ногой, как смычком, на своих же крылышках играет. Жук-листоверт сворачивает из листьев зелёные кулёчки. Муравей под листом стадо тлей пасёт. У каждого своё дело.

Загляделся я — и кувырк с обрыва! Так в песок и зарылся. Хорошо ещё, в речку не угодил.

Встал, а в ушах песок, в глазах песок и даже в карманах песок. Отряхнулся, протёр глаза и вижу: торчит из песка яичко! Простое: беленькое, круглое, как теннисный шарик. Ну и везёт мне сегодня!

Присыпал яичко, заметил место. Сам думаю: «Три яичка и все без

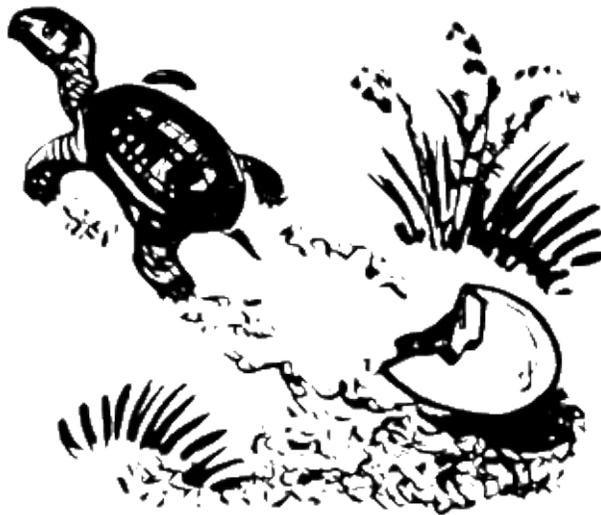
гнезда! Может, их и не птицы снесли?» Но тут же вспомнил поговорку: «Если нету птиц, то не может быть и яиц». И сразу успокоился.

Яичко в песке

Говорят: «Из яичка вылупится птичка». «Птичка-то птичка, — думаю, — да вот только какая?»

День прошёл, два прошло, на третий собрался я в лес. По сторонам уж больше не глазею, спешу. Вот обрыв у воды, вот песок, в песке яичко. В самый раз поспел: яичко-то уж с трещинкой! Вот-вот высунется в трещинку птичий нос.

Качнулось яичко, кусочек скорлупки выпал — высунулся птичий нос. Смешной такой, нос-коротышка. Толстый, короткий, как у попугайчика. Но попугайчики-то только в жарких странах живут!



Треснула скорлупка, яичко расселось, и... выползла из яйца черепашка! Сама с пяточок, глаза как у змейки, ножки лопаточкой. Один нос птичий. Ковыль-ковыль по песку. Да ловко так, будто всю жизнь по песку бегала. И хоть бы помедлила: сразу в поход!

Тут рядом песок зашевелился: полезли из-под него другие черепашки. Не одно яичко было зарыто в песке. Бойкие черепашата: сами из яиц вылезли, сами из песка выползли, сами в воду нырнули. Прямо как большие, хоть ростом с пуговицу.

Яичко в листьях

День прошёл, второй прошёл, собрался я снова в лес. Опять в самый раз поспел. Яичко, что в листьях лежало, набухло, стало упругим, и дырочка в нём проклюнулась.

Вот-вот высунется птичий нос!

Шевельнулось яичко, дырочка раздалась, и выползла из него, как краска из тюбика, змейка! Длинной с карандаш, на затылке два белых пятна. Ужонок, конечно. И только глаза как у птички.



Подразнил меня раздвоенным языком, прошипел что-то себе под нос и пополз. Ловко пополз, будто всю жизнь по листьям ползал. За ним другие ужата: тоже не одно яичко под листьями было.

Растерялся я. Вот уже два яичка без птички. Что-то в третьем яйце будет?

Яичко на земле

День дома просидел, два просидел, на третий не вытерпел. Пошёл туда, где яичко прямо на голой земле лежит. Последнее из трёх!

Мне торопиться надо, а я опять по сторонам смотрю: столько в лесу интересного! Вот жук-навозник в старый гриб вгрызается; уж одни ноги торчат. Вон гусеницы по земле ползут, да не как попало, а стройной колонной, ряд за рядом, как солдаты на марше. А вон муравей улитку кусил — она как запищит! Вот никогда не думал, что улитки умеют пищать! Надо будет запомнить.

На этот раз я опоздал. Вот та полянка, вот моя метка, а яичка нет!

Растёт на месте яичка... гриб! Здоровый, в два кулака дождевик.



Понял я, что вовсе не яичко я тогда нашёл. Просто торчала из земли маленькая грибная шляпка, только что высунулась. Потому-то и не вылупилось из неё ничего: ни птичка, ни змейка, ни черепашка. Просто гриб вырос.

И хоть бы гриб какой стоящий, а то гриб-дождевик! Это тот самый, из которого, если наступить, бурая пыль летит, ни варить его, ни солить, ни жарить. Только ногой поддать.

Я так и сделал: как наподдал, так пыль и заklubилась!

Вот вам и «простые» яички!

Вот вам «из яичка вылупится птичка».

Вот вам и «если нету птиц, то не может быть и яиц».

Всё может быть!

Скворец-знахарь

Хорошее место для гнезда выбрали себе скворцы — в щели сарая, под крышей. Крыша была земляная, и на ней, как на полянке, росла зелёная трава.

От дождя и ветра скворчата укрыты надёжно. Да вот беда — развелись в гнезде птичьи блохи. А скворцы — птички опрятные. Они любят купаться и чистить свои пёрышки. Даже скворчата, как подрастут, в гнезде не пачкают, а высовывают для этого из гнезда свои куцые хвостики.

Блохи кусали скворчат.

Скворчата бились в тесном гнезде, как рыбы в сачке. Один скворчонок даже вывалился из гнезда, и его схатила кошка.

Птичьи блохи и разные насекомые-кусаки чувствовали себя в гнезде под чужой зелёной крышей, как у себя дома.

Но однажды утром, выйдя на крыльцо, я увидел, что зелёная крыша сарая стала голубой! На ней густо закурчавилась какая-то голубая травка. В голубой траве сидели чёрные скворцы. Защемив жёлтыми клювами голубые листочки, скворцы изо всех сил упирались в землю ножками и отчаянно трясли головами — рвали траву.



С пучком травы в клюве сперва один скворец, за ним второй залетели в щель под крышей и выстлали травой своё гнездо.

И тут уж не скворчата, а блохи-кусачки начали выскакивать из гнезда! Да так быстро, будто начался в гнезде пожар!

Скоро блох и разных птичьих кусак не осталось в гнезде ни одной.

Скворчата успокоились и перестали биться. Потом запросили есть и — такие чистюли! — снова стали показывать из щели свои куцые хвостики.

Я сорвал листок голубой травы и размял его в пальцах. В нос ударил такой резкий запах, что я чихнул. Горькая полынь!

Оказывается, запах полыни для блох пострашней, чем едкий дым для комаров.

Ай да скворцы-знахари!

Почему зяблик — зяблик?

Давно я дознавался, почему зябликов зябликами зовут?

Ну славка-черноголовка — понятно: у самчика беретик чёрный на голове.

Зарянка — тоже ясно: поёт всегда на заре и нагрудничек у неё цвета зари.

Овсянка — тоже: на дорогах всю зиму овёс подбирает.

А вот почему зяблик — зяблик?

Зяблики ведь совсем не зяблики. Весной прилетают как только снег сойдёт, осенью часто до нового снега задерживаются. А бывает, кое-где и зимуют, если корм есть.

И всё-таки назвали вот зяблика зябликом!



Этим летом я, кажется, эту загадку разгадал.

Шёл я по лесной тропинке, слышу — зяблик гремит! Здорово поёт: головку запрокинул, клюв разинул, на горлышке пёрышки дрожат — будто он горло водой полощет. И песенка из клюва так и брызжет: «Витт-ти-ти-ти, ви-чу!» Даже хвостик трясётся!

И тут вдруг тучка наплыла на солнце: накрыла лес тень. И зяблик сразу сник. Нахохлился, насупился, нос повесил. Сидит недовольный и уныло так произносит: «Тр-р-р-рю, тр-р-р-рю!» Будто у него от холода «зуб на зуб» не попадает, таким дрожащим голоском: «Тр-рю-ю!»

Кто такого увидит, сразу подумает: «Ишь зяблик какой! Чуть солнце за тучку, а он уже и нахохлился, задрожал!»

Вот почему зяблик стал зябликом!

У всех у них такая повадка: солнце за тучу, зяблики за своё «трю».

И ведь не от холода: зимой-то и похолоднее бывает.

Разные на этот счёт есть догадки. Кто говорит — у гнезда беспокоится, кто — перед дождём так кричит. А по-моему — недоволен он, что солнце спряталось. Скучно ему без солнца. Не поётся! Вот он и брюзжит.

Впрочем, может, и я ошибаюсь. Разузнайте-ка лучше сами. Не всё же вам готовенькое в рот класть!

СОЛОВЬИНЫЙ ЯЗЫЧОК

О соловье все слышали, да не все слышали соловья! Многие знают, где он живёт, а каков соловей на вид, — знают немногие.

Соловей — тоненькая серая птичка с большими чёрными глазками. И с удивительным голосом.

Очень нам хотелось увидеть и послушать соловья. Старый птичник поучал:

— Запевает соловей, когда дождинку с первого берёзового листика склюнет, — горлышко оживит. Самые лучшие певуны те, что по ночам поют. Это старики. Они молодых на хорошую песню ставят. Самый разгон у соловьёв — когда в лесу прозвенит первый ландыш.

И вот ландыш прозвенел...

Настал соловьиный час.

Дед привёл нас в речную черёмуховую урёму и приказал молчать. Лес утихал и настораживался, будто к чему-то готовился. Туман пополз от реки, и чёрные кусты бесшумно и таинственно зашевелились.

И вдруг звонкий, хлёсткий и чистый свист:

— Чу-ить! Чу-ить! Чу-ить!

И сразу упруго и сильно:

— Тио! Тио! Тио!

Началось!



Озноб пробежал по спине — такие чистые и ясные были свисты.

Вот опять свист и опять тишина: прислушивается, наверное, не откликнется ли эхо в звонком бору. Ну и силища в этом крохотном горлышке!

Комары ныли и липли на шею, но мы не смели пошевелиться.

А соловей свистел.

Он то пускался раскатом, то сыпал дробью, то кричал далёкой желной^[2]. И вдруг делал гусачка: «Га-га-га!»

Он кончал и начинал сызнава, переставляя свисты, то удлиняя, то укорачивая их.

— Двенадцать колен! — прошептал дед. — Одно к одному! И всё своим голосом — ни звука чужого! Без единой помарки, без бабьей томности — металл!

Дед в восхищении стукнул сухоньким кулачком по своей сухонькой коленке.

Мы подкрались к черёмухову кусту.

Соловей пел, забыв обо всём. Он сидел сердито насупившись, полураспустив крылышки. Глаза его затянула голубая плёнка. Тонкий клюв широко раскрывался, и из горлышка рвался свист. Головка дёргалась и тряслась, и всё лёгкое птичье тельце была крупная дрожь.

Зеленело небо. Стало видно, как бьётся в раскрытом клювике острый язычок, не язычок — колокольчик. Это язычок так ловко распоряжался песней, что заставлял молодых соловьёв молчать и слушать.

К дому птичника вернулись мы уже при жёлтой зорьке. Из сада тянуло тёплой сиренью.

— Отцветёт сирень, отпоёт соловей! — вздохнул дед.

Пусть! Песенка его теперь всегда будет с нами.

Певчая дорожка

Разные в лесу бывают дороги. Бывают такие, что прямо пойдёшь — назад не вернёшься, налево пойдёшь — в чащобе заблудишь, направо пойдёшь — в болоте увязнешь. Ну их, такие дорожки-то! Но бывают в лесу и другие. Такие бывают, что пройдёшь по ней раз, да на всю жизнь и запомнишь. И опять к ней вернёшься.



Вот было однажды. Шёл я по лесной дороге и держал в руке листок. Простой листок из тетрадки. На листке написано:

«Там, где развилка на Звениречку и Васильки, — кричит дергач».

Я стою на развилке. В клинышке, между дорогами, птица кричит: «Зря-зря! Зря-зря!» Так только один дергач может кричать, у него одного такой голосище.

— Та самая развилка! — догадываюсь я. — На Звениречку и Васильки!

Иду и читаю:

«Две тропинки-вилюшки. У которой поёт зарянка, — в болото заведёт, а у которой теньковочка, — выведет к Василькам».

«Это какая же Васильковская?» — думаю. И ухом угадываю: вот она!

Теньковка около отвилка поёт. Поёт-выговаривает: «Те-тень-ка, те-тень-ка!»

Здорово действуют певчие указатели! И столбов ставить не надо.

Придумываю, как я отвечу прохожему, если он спросит меня про путь.

— Пожалуйста, — попросит, — укажите мне, как к Василькам выйти? Совсем в лесу закружился.

И я отвечу:

— Это проще простого. В лесу не то, что в городе. В городе и смотреть надо, и встречных расспрашивать. А тут только слушать. Идите всё прямо до той развилки, у которой дергач крикает. Сворачивайте направо и шагайте до тропинки с теньковкой. По этой тропке всё прямо и прямо, пока не услышите овсянку. От овсянки налево — тут вам и Васильки.

Что за чудо дорожка!

Идти да идти по такой: и прямо, и налево, и направо!

И я до овсянки дошёл. Сидит на ветле сгорбившись и распевает: «Неси-неси-неси не труси-и!»

Свернул налево — тут тебе и деревня.

Здорово, что ни говори! Прочитал на листочке и шагай — не заблудишься. Лучше всякого путеводителя. Лучше, потому что любой путеводитель быстро стареет. А песни никогда не стареют.

А теперь пора открыть маленькую тайну. Записи-то на листке сделал я сам, только много-много лет назад. И вот, после долгой разлуки, снова вернулся в родные места. Нашёл старую дорогу, но перекрёстки все позабыл. Так и плутал бы по перекрёсткам, если бы не птицы да не листок с полинялыми буквами. А теперь вышел без запинки. Птицы песенками указали путь. Только пели теперь, конечно, уже правнуки тех, что пел тут когда-то. Они остались верными месту. Никакие другие указатели не продержались бы в лесу такой срок.

Как ясно представил я себя мальчишкой, который шёл тут с блокнотом давным-давно, слушал птиц и записывал свои первые наблюдения! Стало радостно: я вернулся, я тоже остался верным своей лесной дороге.

Деревья скрипят

Каждое скрипучее дерево на свой лад скрипит. Интересно слушать в лесу этот скрип. Раньше, бывало, я все ночёвки свои только под скрипучими деревьями и устраивал. Солнце за лес — начинаешь прислушиваться. Как услышу — скрипит! — тут и рюкзак сбрасываю.

Валежник собираешь — оно скрипит, рогульки для котелка вырубаешь — скрипит, лапник стелешь — всё скрипит, скрипит...

И за треском костра слышен скрип, и за бульканьем чая. Сквозь дремоту, всю ночь — скрип да скрип.



К утру уже знаешь, почему скрипит.

То растут два дерева тесно, упёрлись друг в друга сучьями, одно другое отталкивает, отпихивает — вот и скрипит.

Бывает, ветер повалит одно другому на плечи — тоже оба скрипят.

Иное на вид живо-здорово, да сердцевина трухлява: чуть ветерок — скрипит. А то снег зимой в дугу скрючит — за всё лето распрямиться не может. Стоит гнущее, голова лохматая в землю уткнута, — тоже скрипит.

Наслушался я по лесам скрипа. Ни рощи нет, ни бора и ни дубравы, где бы дерево не скрипело. И каждое по-особому. И каждое о своём...

Ночные охотники

Сидел я в лесной избушке при свете лампы. В окно постучали. Я поднял глаза. На чёрном стекле, с той стороны, билась большая ночная бабочка! Она прилетела из ночного леса на огонёк и билась в стекло так отчаянно, будто за ней гнались. Я хотел открыть окно и впустить бабочку, но вспомнил про комаров и передумал.

Но только я опять взялся за дело — по стеклу зацарапали. Кот! Глазищи дикие, усы торчком, а лапой на стекле бабочку ловит. Прижал бабочку мягкой пятернёй, нос свой розовый под лапу сунул и зашевелил усами — съел. Охотничек...

— Брысь! — крикнул я. Кот не ушёл. Он, видно, знал, что на свет прилетят ещё бабочки. Тогда я вышел во двор.

Ночь тёмная и тёплая. Свет из окна похож на луч прожектора. И в этом луче, как пылинки на солнце, толкутся ночные насекомые: мотыльки, бабочки, комары. Там, где свет из окна совсем слабый, носились быстрые тени. Мелькнёт что-то, потом слышится хруст, и сверху, сверкая, летят бабочкины крылышки. Хруст — и падают жёсткие надкрылья жуков. Летучие мыши разбойничают!



Долго я следил за ночной охотой. Увидел я ещё, как метнулся кто-то из темноты на пролетающую летучую мышь, скогтил её и пропал. Не узнать бы кто, да невидимка голос подал: «Ку-вит, ку-вит!»

Сыч! Ну и ловкач! А я раньше и не знал, что сычи летучих мышей ловят. Да и всё тут было ново: коты на бабочек охотятся, птицы на мышей...

Из чёрного ночного леса доносятся незнакомые голоса, — значит, и там есть охотники. Да, может, такие, что... Лучше, пожалуй, в сторожку уйти!

Чеканчик

— Пора луга косить — чекан косу чеканит!

Чекан — это луговая птичка. Птичка как птичка: вострый носок, быстрый глазок, белая бровка. Чеканит — это кричит.

— Чек-чек! Чек! Чек-чек!

Будто в далёкой деревне косарь косу отбивает, косить собирается.

— Чек-чек! Чек-чек!

За это и назван чеканом.



Живёт чекан в лугах тихо и малозаметно.

Поднимаются травы, наливаются колоски: тучнеют луга. Люди на лугах бывают всё чаще. Ходят, смотрят, прикидывают: не пора ли косить? И к этому-то времени у чеканчиков из гнёзд вылетают птенцы. Птенцы как птенцы: кургузый хвосток, глупый глазок. А брови из пуха.

Начинаются у чеканов тревоги, чеканят они целый день. Всем теперь слышны и видны.

— Чек-чек! Чек! Чек-чек! — будто косу отбивают.

— Пора! — люди говорят. — Время косы отбивать! В самый раз: налились травы, затучнели луга. Чекан зачеканил!

Загадочный зверь

Кошка ловит мышей, чайка ест рыбу, мухоловка — мух. Скажи, что ты ешь, и я скажу, кто ты. И слышу я голосок:

— Угадай, кто я? А ем жуков и муравьёв!

Я подумал и твёрдо сказал:

— Дятел!

— Вот и не угадал! Ещё я ем ос и шмелей!

— Ага! Ты птица-осоед!

— Не осоед! Ещё я ем гусениц и личинок.

— Гусениц и личинок любят дрозды.

— А я не дрозд! Ещё я грызу сброшенные лосями рога.

— Тогда ты, наверно, лесная мышь.

— И вовсе не мышь. Бывает, я сама ем даже мышей!

— Мышей? Тогда ты, конечно, кошка.

— То мышка, то кошка! И совсем ты не угадал.



— Покажись! — крикнул я. И стал вглядываться в тёмную ель, откуда слышался голосок.

— Покажусь. Только ты признай себя побеждённым.

— Рано! — ответил я.

— Иногда я ем ящериц. А изредка рыбу.

— Может, ты цапля?

— Не цапля. Я ловлю птенцов и таскаю из птичьих гнёзд яйца.

— Похоже, что ты куница.

— Не говори мне про куницу. Куница мой старый враг. А ем я ещё почки, орехи, семена ёлок и сосен, ягоды и грибы.

Я рассердился и крикнул: «Скорей всего, ты — свинья! Ты лопаешь всё подряд. Ты одичавшая свинья, которая сглупу забралась на ёлку!»

— Сдаёшься? — спросил голосок.

Ветки качнулись, раздвинулись, и увидел я... белку!

— Запомни! — сказала она. — Кошки едят не только мышей, чайки ловят не только рыбу, мухоловки глотают не одних мух. А белки грызут не только орешки.



Паучок

С дерева вниз спускался на паутинке паучок. Да ловко так: выпускал паутинку и на ней, как на канате, спускался всё ниже и ниже. Я подошёл, чтобы лучше разглядеть этого акробата. Зацепил пальцем паутинную ниточку повыше паука, покачал паука в воздухе, как бумажный мячик «раскидай» на резинке, и стал поднимать поближе к глазам. Да не тут-то было!

Тяну паука за паутинку вверх, а он паутинку разматывает и опускается вниз. Я быстрее тяну, он быстрее разматывает. Я руками перебираю, только пальцы мелькают, а он паутину выпускает и скользит вниз. Как будто я катушку за нитку тяну вверх: тяну, тяну, нитка разматывается, а катушка ни с места. Крутится, вертится, а вверх ни на сантиметр!

Изо всех сил тяну, а паучок всё равно вниз.

И тут подумал я, что этак я паука, как катушку с нитками, до конца размотаю! Ведь иссякнет же он когда-нибудь, будет же конец его паутине? Разматывается весь на паутину — тут ему и конец. За что же беднягу так?

Оборвал я паутинную нить, пустил паука на землю. Помчался он со всех своих восьми ног. Здорово так, сразу видно, что не весь ещё вымотался. Осталось ещё паутины на сеть — комаров ловить. Пусть ловит: кусаются комары здорово!



Птичьи посты

Залетела осенью на нашу речку серая цапля. Стал я за ней охотиться. Да только время зря потерял.

Ноги у цапли высокие, шея длинная. Вытянется, жёлтым глазом с высоты поведёт — сразу увидит охотника. Днём от её глаз не спрячешься.

Стал я ночью счастье пытаться.

Я так думал: замечу с вечера, на какой речной косе цапля сядет на ночлег, и ночью, в темноте, подтаюсь к ней.

Лёг я с вечера на высокий берег и стал смотреть.

Вода в реке розовая, и сизый парок над ней шевелится. На розовом речная коса — как чёрный клин. И на самом острие клина — точка. Это цапля.

Днём по такому открытому месту подобраться и не думай. Тут всё как на ладони. А вот ночью попробовать можно. По песку можно тихо пройти. Заблудиться негде — справа и слева вода. Прямо к цапле и выйду.



Солнце опустилось за лес. Река стала серой. Холодом потянуло. Жду. Вот и первые звёздочки на небе: одна, две, три... Пора! До полной темноты добрался я до кустов у основания косы.

Тишина. Слышно только, как вода под берегом бормочет да сердце моё стучит.

Постоял, отдышался, ружьё половчее перехватил: ни пуха ни пера!

Но только шагнул — хрустнула под сапогом сухая тростинка! Я замер. Но, кажется, обошлось. Только луговые коньки в тростнике услышали —

перепискнулись. Коньков кулички услышали — ответили с косы тонким куличиным свистом. Ещё дальше селезень крякнул. И стихло всё.

Крадусь по песку чуть слышно.

Чувствую, что суживается клин косы всё больше и больше — всё громче бормочет вода справа и слева. И какой-то шорох — то ли ветерок, то ли птичьи крылья.

Стоп! Конец косы, самое остриё. А цапли нет!

Свечу фонариком; вот следы трёхпалые на песке, белые кляксы, пёрышко серое. Только что тут была!

Топчусь по песку на одном месте. Увидеть цапля меня не могла. Ночь — хоть глаз выколи. И услышать не могла. По песку я неслышно шёл, а что тростинка под сапогом хрустнула, так то полкилометра от цапли. Разве хруст тростинки за полкилометра слышен?

Тростинки... А зачем ей тростинка? Цапля другое услышала!

Хрустнула тростинка — всё равно что сказала: «Враг!» Услыхали хруст только коньки в кустах. Услыхали и пискнули по-своему: «Враг! Враг!» Коньков кулики услышали, по-куличиному свистнули: «Враг!» Куликов — утки. Утиный кряк услышала цапля. Все насторожились.

Я ещё далеко, а про меня уже все знают, все ждут. Не спят, прислушиваются, всматриваются.

Кулички крыльшками прошумели — утки шеи вытянули близко! Утки взлетели — цапля приготовилась. И улетела.

Вот что значит наступить на тростинку, когда вокруг тебя птичьи посты!

Хитрые птицы! На ночлег так садятся, чтобы их кто-нибудь да сторожил.

Коньков — тростинки сухие сторожат. Куликов — коньки. Уток — кулики. А цапля ночует посреди стаи уток. Попробуй-ка захвати таких врасплох!

Здорово у птиц: всяк пищит за себя, а польза всем!

Так и не добыл я для музея цаплю. Не сумел перехитрить птиц.

Время

Никогда я раньше не думал о времени. Идёт оно неслышно, течёт невидно. Час за часом, день за днём. Смотришь, уж и суббота, а там воскресенье. Ну и хорошо, что суббота и воскресенье!

Смотреть на часы или заглядывать в календарь — это ещё не значит понимать время.

Думать о времени меня научили... мыши и дятлы.

Встречаю я их в лесу весь год. Вся их жизнь на моих глазах.



У птиц и зверюшек тоже есть свои причуды. Вот мышь полёвка. Эта до невозможности чистоплотная. Моется после еды и перед едой, моется перед сном и после сна. Зевнёт — помоемся, чихнёт — помоемся, почешется — помоемся. После игры моется, после драки моется. В жару моется, в холод моется. Вымоется и помоемся.

Или летучая мышь. Эта любит поспать. Всю зиму спит беспробудно — сразу полгода! Потом от восхода до заката спит. А по ночам как повезёт: чуть дождь — спит, ветер — спит, холодно — спит. Выспится и дремлет.

Ну, а дятлы — работяги. Уткнутся носом в дерево и долбят. Зима ли, лето — долбят. С зари до зари. В ведро и в непогоду. Круглый год; как только носы не сломают!

Одни моются, другие спят, третьи долбят. Час за часом, день за днём. Так незаметно, а если прикинуть? И выйдет, что полёвка полжизни моется, дятел три четверти жизни долбит, а летучая мышь живёт только двадцатую часть своей мышиной жизни — остальное время спит!

Заставили меня мыши время считать. А вдруг и я только и делаю, что сплю да долблю. И очень просто!

Тук-тук!

Тук-тук!

— Да!

Тук-тук!

— Войдите!

Тук-тук! Тук-тук!

Ого! Стучат не в дверь, а в окно! Выглядываю: дятел!

Прицепился на открытую раму и серьёзно так стучит.

— Здорово! — говорю. — Влетай!

А он как испугается! И в лес.

Бревенчатая изба для него, наверное, как огромное толстое дерево. Окно — как дупло. И в дупле кто-то страшный сидит.

Белку в дупле дятел встречал, летучую мышь встречал, даже филина видел. А такое страшилище — никогда!

Наутро дятел опять прилетел — «дерево» дуплистое выстучать. Для начала все брёвна пересчитал. Потом в каждое дупло-окно — заглянул. Чудо: всё видно, а влезть нельзя.

Ступеньки пересчитал: шесть.

В трубу тюкнул: крепкая. Что бы ещё проверить?



Начал в заборе доски считать. С доски на доску, с доски на доску. Считал, считал — сбился. Начал сначала.

Считал-считал — невмоготу!

Не может больше считать — вот как наелся! На каждом брёвнышке по муравью, на каждой ступеньке по жуку, на каждой доске — по личинке. Нос набил, язык натёр. И живот из-под пёрышек вздулся. Синий такой и

голый. Ну да, голый: дятел-то совсем молодой!

Крылья и хвост у него как у большого, а живот голый. Перья ещё короткие. И хоть шапка красная и нарядная, да ум в голове не тот. Это ж надо — дом с деревом спутал! Ну да ничего. Дней у него впереди — считать не пересчитать! Во всём ещё разберётся.

Тук-тук!

Будем знакомы!

Отчаянный заяц

Вылиняли у зайца-беляка задние ноги. Снега ещё нет, а у него ноги белые стали. Будто белые штаны надел.

Раньше серого зайца никто и на поляне не замечал, а теперь он и за кустом сквозит. Всем как бельмо на глазу!

В ельник забился — синицы увидели. Окружили и давай пицать:

— Заяц в штанах, заяц в штанах!

Того и гляди, лиса услышит.

Заковылял заяц в осинник.

Только под осинкой залёг — сороки увидели. Как затрещат:

— Заяц в штанах, заяц в штанах!

Того и гляди, волк услышит.

Замелькал заяц в густель. Там ёлку вихрь повалил. Легла ёлка вершиной на пень. Как шалашиком, пень накрыла. Вспрыгнул беляк на пень и притих. «Вот, — думает, — теперь от всех спрятался!»

Шёл по лесу охотник и видит: в самой густели будто глазок на небо сквозит. А какое там небо, если позади лес чёрный! Заглянул охотник в лесной глазок — заяц! Да близко — ружьём ткнуть можно. Ахнул охотник шепотком. А заяц — некуда податься — шасть прямо на охотника!



Отшатнулся охотник, запутался ногами в валежнике и упал. А когда вскочил, — только белые штаны заячьи мелькали вдали.

Опять увидели зайца синицы, запищали:

— Заяц в штанах, заяц в штанах!

Сороки увидели, затрещали:

— Заяц в штанах, заяц в штанах!

И охотник кричит:

— Заяц в штанах!

Вот штаны — ни спрятать, ни переменить, ни сбросить! Хоть бы уж снег скорей — беспокойству конец.

Мурлыка

Жил-был у бабушки кот. Звали кота Мурлыкой. Больше всего на свете любил Мурлыка молоко.

Летом кот уважал молоко холодное. Такое, чтоб из запотевшей крынки. Только достанет бабушка крынку из колодца — Мурлыка тут как тут! Хвост торчком и мурлычет так, что усы дребезжат.

Налакается холодного молока — и на завалинку. Лапки вверх, глаза заведёт — холодный живот на солнце греет.

Зато зимой подавай Мурлыке молоко топлёное. Сперва пенку съест, потом до капельки вылакает.

Распарится, разомлеет — и заскребётся в дверь. Горячим животом сразу на снег — остужает.

День да ночь — сутки прочь. Мурлыка то греет живот, то студит. А в свободное время лакает молоко. Ловить мышей ему некогда.



Долго ли, коротко ли — умерла бабушка. Стал Мурлыка жить у бабушкиной внучки.

Хотите знать, что он сейчас делает?

Тогда посмотрите в окно. Если за окном лето, — значит, кот Мурлыка живот греет, а если зима, — остужает.

Живёт не тужит. Мышей не ловит. А мурлычет так, что усы дребезжат. И хвост трубой.

Синичий запас

Собирать в запас — значит себя спасать. Каждый спасает себя на свой лад. Суслик зерно с полей ворует и прячет в свою нору. Даже особые кладовые роет для ворованного зерна. Водяная крыса забивает отнорки картошкой. До пуда, бывает, натаскает. Сыч на зиму замораживает в дупле, как в холодильнике, мышей и птичек. У одного такого запасливого сыча нашли однажды целых два килограмма лесных мышей! А один горноста́й сложил в норе пять водяных крыс, семь полёвок, синичку, гадюку, ящерицу, тритона, лягушку и плавунца!

Всё это — на чёрный день.

Запасают как могут, где могут. Все по-разному, но все для себя: в своей кладовой, в своём дупле, в своей норе.



И только одни весёлые синички-хохлатки собирают запасы совсем не так. Хоть они и весёлые, но и у них бывают чёрные дни. И потому запасают они неустанно. Жучок, паучок, муха — годится. Семечко, зёрнышко, ягодка — подойдёт. Нет у них собственных кладовых: ни норок, ни дупел. Была бы удобная трещинка в коре, особенно под сучком, куда не пробьётся ни дождь, ни ветер.

В лесу деревьев — не сосчитать. И на каждом найдётся укромная трещинка. С дерева на дерево, с сучка на сучок, от трещинки к трещинке. Куда жука, куда зёрнышко; осенью еды много. А зимой и сушёному комару будешь рад.

Сотни деревьев, тысячи кладовых. Но разве все их запомнишь?

А их и не надо запоминать: кладовые-то эти для всех! Не всё ли равно, чей запас ты найдёшь: свой или чужой? Ты чей-то склевал и твой кто-то

забрал. Ты для всех, и все для тебя.

Чёрный день всем страшен: всем надо иметь запас. А собирать его можно по-разному. Можно как крыса — только себе. Или как синичка-хохлатка — для всех.

Какой заяц длины?

Какой заяц длины? Ну, это для кого как. Для человека невелик зверь — с берёзовое поленце. А вот для лисы заяц длиной километра в два! Потому что для лисы заяц начинается не тогда, когда она его схватит, а когда учует по следу. Короткий след — два-три прыжка — и заяц не велик.

А если заяц успел наследить да напетлять, то становится он длиннее самого длинного зверя на земле. Такому верзиле не просто в лесу схорониться.

Зайцу от этого очень невесело: живи в вечном страхе, жирок лишний не нагуляй.

И вот изо всех сил старается заяц стать короче. След свой в болоте топтит, надвое свой след рвёт, — всё себя укорачивает. Только и думает, как бы от своего следа ускакать, спрятаться, как бы его разорвать, укоротить или утопить.

Мечта заячья — стать, наконец, самим собой, с берёзовое поленце.



Жизнь у зайца особая. Всем от дождя и метели радости мало, а зайцу они на пользу: след смывают и заматают. И хуже нет, когда погода тихая да тёплая: след горячий, запах долго держится. В какую б густель ни забился — нет покоя; может, лиса за два километра позади, — тебя сейчас уже за хвост держит!

Так что вот: трудно сказать, какой заяц длины. Который похитрей — покороче, поглупее — подлиннее. В тихую погоду и умный вытягивается, в метель да ливень — и глупый укорачивается.

Что ни день — длина у зайца другая.

И очень редко, когда уж здорово ему повезёт, бывает заяц той длины

— с берёзовое поленце, — каким человек его знает.

Знают про это все, у кого нос лучше глаз работает. Волки знают.
Лисицы знают. Знайте и вы.



В ПОДВОДНОМ ЛЕСУ

Озёра часто ложатся на пути охотника. Разные озёра: синие, лазоревые, бурые, как крепкий чай. Но для следопыта все они — белые неисследованные пятна на зелёной карте лесов.

Что скрывается под зыбкой голубой плёнкой?

Не раз вглядывался я в слепые глаза озёр, стараясь заглянуть в глубину. Но глаза, как стеклянные, отражали только жёлтые тростники, красные сосны и синее небо. Они ревниво скрывали тёмную душу озера.

Тогда я сделал водолазную маску. Надел на ноги зелёные ласты. Маска была нужна для того, чтобы видеть под водой, а ласты — чтобы плавать быстро, как рыбы.

В руки я взял особое подводное ружьё, которое стреляет не дробью, а гарпуном. Фотоаппарат спрятал в непромокаемый резиновый чехол. И, как лягушка, прыгнул в воду.

Это был прыжок в другой мир. И под водой оказались леса и луга, пригорки и овраги. Но только это были подводные леса и подводные овраги. И жили в них незнакомые подводные существа.

За ними я и стал охотиться с ружьём и фотоаппаратом. И с особой пластинкой, на которой я даже под водой смог записывать свои наблюдения.

**В ПОДВОДНОМ
ЛЕСУ**



В подводном лесу

Окно на дно

Я прорубил во льду окошко.

Лёг на живот и заглянул в прорубь.

Увидел свои глаза, заиндевелые брови и ресницы.

А заслонился рукавицей — глаза исчезли, и в сумрачной глубине показалось дно. Руки мои судорожно вцепились в лёд: я висел над неведомой планетой!



Глубоко подо мной росли невиданные леса. Незнакомые существа медленно пролетали над ними...

Но вот со дна кто-то беззвучно выстрелил серебряным шариком — прямо мне в глаз. Я отшатнулся.

Шарик остановился за окном.

Оказалось — прорубь замёрзла.

Я поднялся и встал на лёд.

Всё вокруг такое привычное и давно знакомое. А рядом, прямо под ногами, большой неизведанный мир!

Не верите? Загляните в прорубь!

Под водой

В подводном мире всё не так, как у нас на земле.

Передвигаться там нужно не стоя, а лёжа. Там очень трудно шагать, но зато просто летать. А прыгать там можно даже вниз головой.

Руки и ноги в этом мире становятся на треть короче, а рыбы, раковины и водоросли — на треть своего роста длинней. Вода сплющивает расстояния и увеличивает предметы.

В подводном мире никогда не бывает дождя и снега. На небе там не звёзды, не тучи, а волны. Между волн перекатываются пузырьки воздуха — блестящие, как звёздочки!

Зимой там не бело, а черно: всю зиму непроглядная ночь.

Там нет горизонта — черты, где земля сходится с небом.

По земле подводного мира не скачут весёлые солнечные зайчики. Там колышутся широкие солнечные ленты — отсветы волн и солнца. Лиловые тени от красных деревьев лежат на зыбкой серой земле. Мягкая зелёная дымка заволокла всё вокруг — нет ни резких теней, ни острых углов.

Всё неверно, призрачно и таинственно.

Всё не так, как у нас на земле.



* * *

Я еле дождался лета: так не терпелось спуститься под воду и увидеть рыб.

Наши озёрные рыбы — не диковина. Ерши, плотва, окуни, щуки, — кто их в руках не держал?

Но одно дело — рыба в руке, а другое — в воде. В воде рыба дома, там она живёт. А в руке рыба снёт — умирает.

У снулой рыбы даже цвет неживой — блёклый.

Рыбаки говорят, что снулая рыба *вянет*.

А то ли дело рыбы живые! Яркие, быстрые, резвые.

Кому на таких посмотреть не охота.

На лицо я надел водолазную маску.

Ноги сунул в резиновые ласты.

Стал я похож на одноглазую лягушку. И, как лягушка, нырнул в воду.

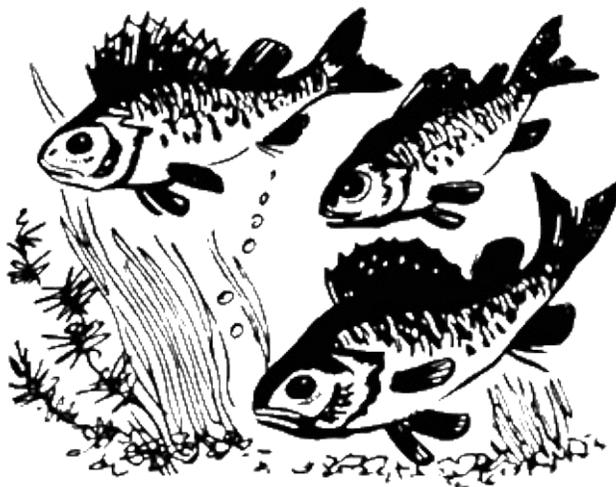
Подводные ежи

В ерше, как и в еже, заметнее всего — колючки.

Голова, хвост, посредине колючки — вот и весь ёрш.

И ещё глаза: лилово-синие, большие, как у лягушки.

Ростом ёрш — с мизинчик. А если с указательный палец, то это уже ершовый старик.



Напугали меня эти старики. Плыву и вижу: дно зашевелилось! Зашевелилось и уставилось на меня точками тёмных глаз.

Это ерши — старик к старику! Сами-то незаметны: хвосты, головы, колючки — всё такое же пятнистое, как дно. Видны одни глаза.

Я повис над ершами, свесив ласты.

Ерши насторожились. Пугливые вдруг стали падать на дно, выгибаться и нарочно поднимать облачка мути.

А сердитые и отважные взъерошили на горбу колючки — не подступись!

Как ястреб над воробьями, стал я кружить над ершовой стаей.

Ерши выжидали.

Я стал похрипывать в дыхательную трубку.

Ерши не испугались.

Я вытаращил глаза — им хоть бы что!

Тогда я... чуть не сказал: «Плюнул на ершей»... Нет, я не плюнул, под водой ведь не плюнешь, — а махнул на ершей ластом и поплыл прочь.

Да не тут-то было!

От резкого взмаха ластом со дна взмыла и завихрилась муть. Все ерши устремились к ней: ведь вместе с мутью поднялись со дна вкусные червячки и личинки!

Чем быстрее я работал ластами, торопясь уплыть, тем больше поднимал со дна ила.

Тучи ила клубились за мной, как тёмные грозовые облака. За тучами тянулись стаи ершей.

Отстали ерши только тогда, когда я выплыл на глубину. Но на глубине мне стало не по себе. Я ещё не привык к глубине, — это были ведь ещё мои первые шаги под водой.

Дно опускалось всё глубже и глубже. А мне казалось, что я лечу над землёй и взмываю всё выше и выше. Так и хотелось за что-нибудь ухватиться, чтобы не грохнуться с такой высоты!

Я повернул назад.

Вот опять заросли. В зарослях ерши. Вроде и веселей: всё живые души!

Ерши-мизинчики плавают в полводы, а старик — на дне. Теперь я нарочно поднял ластами муть. «Старики» и «мизинчики», как воробьи на просо, кинулись на неё.

Я уже больше не пугаю ершей: не хриплю в трубку, не таращу на них глаза.

Просто смотрю.

И потому даже самые пугливые больше не падают набок, чтобы поднять со дна муть и спрятаться в ней. А самые сердитые не топорщат колючки на горбах.

Покладистые ребята. Колючки в ершах хоть и самое заметное, но не главное!

Пятое имя

Плотвицы совсем как ласточки: стройны, быстры, непоседливы. Но цветом они на ласточек не похожи.

В воде плотвицы кажутся серыми, и рыбаки иногда называют их за это серянками. Или краснопёрками — за красные плавнички.



Плотвицы всегда в движении. То серыми тенями шныряют между водорослей, то разом взметнутся, блеснут, как солнечные зайчики. За этот блеск плотву зовут ещё серебрянкой.

Есть у плотвы и ещё одно имя — четвертое.

Как-то пробирался я сквозь заросли и выплыл на подводную полянку. Пусто на полянке. Одни пузырьки, будто белые мотыльки, взлетели вверх.

И вдруг вокруг меня вихрем закружили красные искры!

Я даже вздрогнул — глаза! Красные, блестящие, как огоньки.

Мимо таких глаз не проплывёшь, остановишься: не глаза, а настоящие стоп-сигналы!

За красные глаза многие рыбаки зовут плотву красноглазкой.

Сколько имён у плотвы: серянка, краснопёрка, серебрянка, красноглазка! И все хороши.

Но будь моя воля, дал бы я плотвицам пятое имя — водяная ласточка. Уж очень они резвы и ловки. И хвост, как у ласточки, вилочкой.



Рыбята

Светло и весело под водой в солнечный день!

Особенно на мелководье. Там на песчаных полянках растут длинные и тонкие водоросли, похожие на зелёные волосы.

На эти полянки из холодной и сумрачной глубины выплывают мальки — принять солнечную ванну. Мальки толкуются на поляне, как комары-толкуны.

Приплывёшь сквозь мальковый рой — будто под грибным дождиком пробежишь. Всё вокруг сверкает, и тело щекочут лёгкие «дождевики». Мальки заглядывают в маску, виляют хвостиками у самого носа. Но поймать их так же невозможно, как и схватить падающие капли дождя.



Мальки всегда очень заняты. То они сосут листики — зелёные соски. То подвешиваются на губах к водорослям и висят блестящими росинками. Жадные хватают комаров водяных с неба, а любопытные даже высовывают свои носы в наш мир.

Пронеслась однажды над водой мотыльковая метель.

Легкокрылые подёнки устлали воду белыми крылышками. Мальки сейчас же высунули носы из воды. Но тут вдруг страшная чёрная тень пронеслась над их головами. Мальки в ужасе брызнули вниз.

Я вынырнул и успел увидеть чёрное чудовище. Это была... ласточка! Она подхватывала упавших на воду мотыльков.

Вот натерпелись мальки страху.

Но рыба, как и все ребята, не любит унывать. Унеслась ласточка — все сразу за дело. Кто нос в небо, хвостик вниз; кто листик сосёт; кто мотылька за крыло тянет.

Катят по небу серые волны. Кольщутся по дну широкие жёлтые ленты — блики.

Между волн перекачиваются шарики воздуха, а между жёлтых лент покачиваются мальки. Блестящие, как капельки солнца.

Светло и весело под водой!

Колючий рыцарь

Никто и никогда не нападал на меня в воде. Даже большие зубатые щуки. И вдруг накинулся малыш, ростом с палец! Тело его защищено широкими блестящими пластинками. Как у рыцаря, закованного в латы. На горбу трезубец — три колючки. На груди ещё две, как два кинжала.

Рыцарь грозно растопырил все свои пять колючек и бесстрашно встал на моём пути. Он прямо весь потемнел от гнева, и глаза его позеленели от злости.

Рыцарь был смел и красив. Спина у него была синего цвета, бока — как серебро, а щёки малиновые.

Я протянул к нему палец. Он кинулся вперёд, ткнул палец трезубцем, и из пальца вязкой стружкой потянулась вверх кровь.

Я попятился назад, поднимая ластами тучи ила. Скорей укрылся за кустом пушистого роголистника и стал смотреть.

И тут открылась мне тайна маленького смелого рыцаря: оказывается, он сторожил свой дом!



Дом его был размером с кулак и похож на кулак, неплотно сжатый: с одной стороны вход, с другой — выход. А в домике была икра.

Никто не мог безнаказанно приблизиться к его дому.

Ни на миг он не забывал о врагах. Даже проплывающий листик и шевелящаяся тень выводили его из себя. Он сразу «менялся в лице», глаза его зеленели, и на скулах выступали красные пятна. Даже белый живот краснел от гнева.

По цвету живота можно было сразу узнать его настроение.

Блестели латы: рыцарь готов был к бою и с крохотным жучком-гладышем и с великаном-человеком.

Кто бы мог подумать, что даже простая колюшка становится рыцарем, если угрожать её дому!

Колюшка-папа сторожил свой дом.

Колюшка-папа очень заботливая рыбка — не то что колюшка-мама.

Колюшка-мама отложит икру — и поминай как звали. А колюшка-папа икру стережёт. А потом пасёт своих непоседливых колюшат. Самых бойких и непослушных, убегающих из дома, он хватается ртом, тащит назад и выплёвывает прямо в дверь.



Говорят, что если разорить колюшкин дом, то колюшка-папа от горя побледнеет — совсем потеряет свою яркую боевую окраску. И даже перестанет есть.

Мне совсем не хотелось, чтобы такая красивая и бойкая рыбка стала бледной и скучной. Я выбрался из куста роголистника и поплыл в сторону от рыбьего домика.

Озорники

Рыбаки направили меня к тростникам.

— У тростников окунёвый жор, — говорили они. — Окунь там — кипят!

По-нашему, по-земному, это значит — озорничают. Плещутся, высовывают из воды спины, бьют хвостом. Охотятся на мальков.

Я все тростники исплавал, — нет окуней! Сколько ни вглядывался — только серое дно, махровые снизу тростники, зелёная дымка...

Стал я замерзать.

А когда в воде замёрзнешь, то дышать начинаешь так, будто подсмеиваешься над кем-то. Рыбаки на берегу только руками разводят: посинел весь, а ещё хихикает!

Но мне не до смеха.

Распластался я на воде, как лягуха, свесил ноги и руки вниз. От холода хихикаю. И вдруг вижу: выплывают из-под самых моих ластов окуни — целая стая! Полосатые, зелёные, головастые. На белых грудках плавнички, как красные крылья бабочек.

Выплыли и остановились, уставились наглыми золотыми глазами. На горбах колючки веером: то сложат колючий веер, то развернут.

Я их в тростниках ищу, замерзаю, а они позади меня тайком плавают! Разглядывают: что за чудо-юдо хихикает?

Заругаешься тут! Вполголоса, конечно, а то ведь и захлебнуться недолго.



Любопытные эти окуни!

Знал я одну полянку на дне. На полянке лежала утонувшая газета. Когда ни заплыву — на полянке окуни. Толстые головы вниз, носами в газету уткнулись, губами белыми шевелят — будто газету по складам читают.

Я фыркнул в трубку — грамотеи в кусты!

Нырнул я на дно, посмотреть, что в газете написано. Да ластом дно задел, газета размокшая колыхнулась и... рассыпалась на буквочки!..

Любят окуни озорничать. Один так плотвичку пугнул, что та как прыгнет — и угодила прямо в чёлн к рыбаку. Я одного ластом поддал — он отскочил и встал у меня под самым животом. Да ещё и оцетинился — того и гляди, голый живот колючками проткнёт!



Зато уж разглядывай окуней сколько хочешь.

Разглядел я одного безгубого. Видно, червяка с крючка стаскивал и губу свою на крючке оставил. Знал одного одноглазого. При встрече даже здоровался с ним. Промычу, бывало, в трубку: «Здорово, кривой!» Окунь сразу ко мне целым глазом повернётся, белыми губами зашевелит. Наверное, рыбаков ругает, что они ему глаз вырвали.

Я к нему — он от меня. И всё ругается. Вот вырви-глаз! Схватить бы ругателя за жабры, да руки-то под водой короткие!

Много разной рыбы кипит у тростников.

Но самые красивые, самые смелые — окуни.
А уж озорники — беда!

Домики на ножках

Заплыл я в дремучий подводный лес. И вижу: стоит на поляне домик на ножках. Рядом — ещё домики. Каждый построен по-особому, но все на ножках.

Один слеплен из разноцветных камешков: красных, белых, зелёных. Другой — из ярких надкрылий жуков. Третий — из маленьких перламутровых раковин. Есть из еловых хвоинок, из палочек и травинок.

Целый подводный городок!

Над городком зелёный рассвет. Чёрный клоп-гладыш набрал под надкрылья воздух и пролетел над городком, как блестящий самолёт. Как ракета, толчками качая воду, промчала личинка стрекозы.



Проснулся городок. Нет, не высыпали на его улицы весёлой гурьбой обитатели домиков. Проснулись, сдвинулись с места и зашагали... сами дома!

Зашагал домик из разноцветных камешков. Пополз перламутровый дом. Домик из хвоинок засеменил, как рассерженный колючий ёж. Быстро бежит на шести-то ногах!

Но живёт в домике не баба-яга, а «шитик» — личинка ручейника. Куда шитик ни пойдёт — домик на себе несёт. Где еды много — остановится, поживёт немного. Другие домики подойдут: опять целый городок.

Подрастёт «шитик», тесен домик станет — пристройку сделает. Скрепляет песчинки или хвоинки паутиной и внутри паутиной же выстилает.

И происходит в домике чудо: подводный червяк превращается постепенно в надводную бабочку. У червяка вырастают крылья! Прямо как в сказке. Да другого и быть не может: домик-то не простой, а на ножках. Сказочный домик!

Воздушный замок

В сумрачный день плыл я под водой. Тёмное всё вокруг: тёмное дно, тёмные водоросли. И тёмные рыбы, как летучие мыши, порхают над головой.

Я уже собрался вынырнуть из сумрачного и скучного подводного мира, как вдруг впереди, в самой гуще зарослей, вспыхнул солнечный зайчик.

— Наверное, там, наверху, солнце выглянуло из-за туч.

Но нет — всё вокруг осталось таким же тёмным. Только солнечный зайчик светил впереди.

Я отвёл от лица пышную водоросль и увидел... воздушный замок! Замок был настоящий. Но не было здесь ни мрачных каменных стен, ни окон-бойниц, ни ступеней, похожих на могильные плиты, ни ржавых чугунных ворот.

Замок был из воздуха. Из воздуха стены, из воздуха купол, из воздуха пол — всё из воздуха! Замок просвечивал насквозь и светился, будто освещённый изнутри.

Сам владелец замка сидел в воздушном зале. Он ел. Мохнатыми ручищами подносил пищу к заросшему щетиной рту и не спеша жевал...

Вот он перестал жевать и уставился сквозь прозрачную стену на меня. Он смотрел во все глаза, а глаз у него было восемь.

Вот зашевелился, вот медленно выполз из дома и вдруг полетел вверх, как птица! Только птица в полёте машет крыльями, а владелец замка не спеша перебирал мохнатыми ногами, будто шагал. И ног у него тоже было восемь.



Дошагал до подводного неба, перевернулся и высунул круглое брюхо в надводный мир. Высунул и... опоясался воздушной лентой, как серебряным пояском!

Назад он уже бежал. Бежал с неба на землю. Добежав до своего дома, он приложил серебряное брюхо к воздушной стене, будто положил кирпич. Так он таскал и таскал сверху воздушные кирпичи — достраивал воздушный замок. Последний пузырёк он втолкнул внутрь — для дыхания. И забрался туда. Вдохнул и зажевал.

Вы поняли, конечно, что это мохнатое чудовище всего-навсего маленький подводный паук серебрянка. Он строит свой маленький домик из воздуха. Но вода сильно увеличивает предметы. И когда я смотрел на паука сквозь толстое стекло маски, мне представлялось, что передо мной настоящий страшный хозяин настоящего воздушного замка. Впервые в жизни я своими глазами увидел, как строят воздушные замки. Оказывается, их не только можно строить, но в них можно даже и жить.

Голубой рак

Всем известно, что рак красный. Даже говорят: «Красный как рак!» Но красным рак становится только в кипятке. Живой рак бурого цвета. Это тоже всем известно.

Но вот известно ли кому, что среди обыкновенных раков встречаются голубые?



Однажды летом я поймал такого в Грязной речке. Всё у него как у бурого рака: клешни, глаза на стебельках, раковая шейка. А цвет — голубой!

Панцири обыкновенных раков всегда под цвет тёмного дна, а этот голубой, как весеннее небо. А что если и его в кипяток, каким тогда станет? Неплохо бы сварить. Ракоеды говорят, что в те месяцы, в которых нет буквы «р» — летом, — раки особенно вкусны!

И всё-таки я голубого рака не сварил, пожалел. Выбросил обратно в речку. Ведь, может, это всем ракам рак. Может, от него вся порода рачья переменится. Может, не будут они, как водяные крысы, прятаться по тёмным норам, не станут пятиться задом. Может, поднимутся с тёмного дна к подводному небу и заживут среди ярких и красивых рыб. И, может, нашу Грязную речку все назовут тогда: речка Голубых Раков!

Так что вот: не все раки бурые. Бывают и голубые. Да будет и вам это известно!



Санитар

Сумрачно под водой — туча закрыла солнце.

Дно потемнело и опустилось в глубину. Мои жёлтые руки вдруг стали зелёными. По зелёным рукам забегали чёрные мурашки, — это закружили вокруг меня рыбы мальки. Без солнца даже серебряные мальки становятся чёрными.



Я тихо гребу ластами, настороженно вглядываюсь в тёмные заросли. Вот топляк — затонувшее бревно. Вот стебли водяной травы. Они бледные, будто выросли в тёмном погребе. А вот... глаз! Он тоже какой-то травяной — жёлтый, с зелёным зрачком.

И вдруг всё вокруг посветлело. Дно поднялось, водоросли надвинулись со всех сторон. Зелёные руки мои опять стали жёлтыми. Солнце выглянуло из-за туч!

Тут я понял, кто следит за мной зелёным глазом: щука! Плосконосая, с презрительно выпяченной нижней челюстью. Водяной волк!

А мальки щуку не видят. Толкуются у самого щучьего носа серебряным облачком. Чуть хвостиками нос не щекочут. Сами в рот просятся.

Но щука и плавником не ведёт!

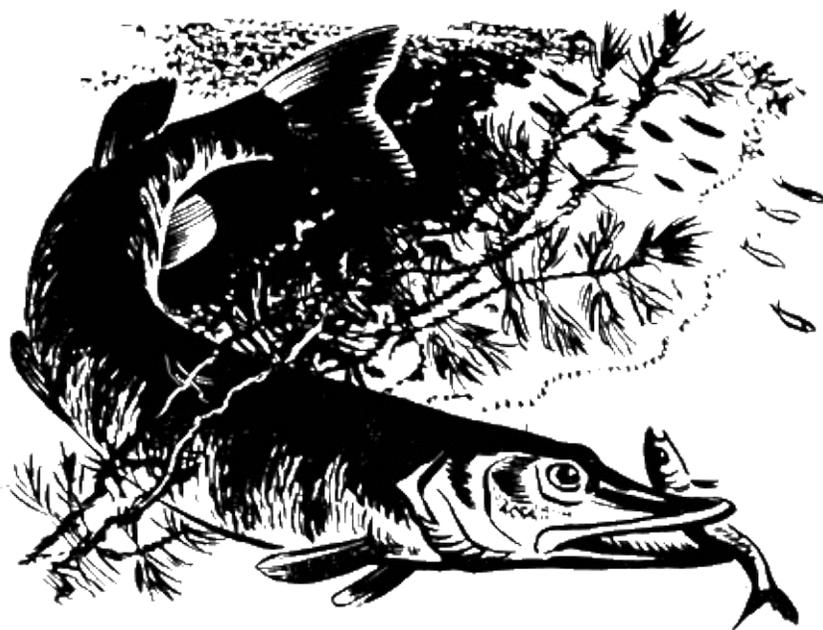
Стайка искроглазых плотвиц пролетела рядом.

Водяной волк и не шевельнулся!

Но вот плывёт вперевалочку тощая уклейка. Полхвоста объедено, на спине болячка, на боку ссадина. Смотреть противно!

Тут щука к ней со всех плавников! Даже из воды выскочила и проскакала на брюхе, пуская «блинчики».

Вот он каков, водяной-то волк!



Только волка ноги кормят, а щука рыскать не любит. Старые рыбаки говорят, что при движении рыбы в воде возникает чуть слышный шум. Мирным рыбам — ершам, плотицам — хорошо знаком шум щучьих «шагов». Даже не видя щуку, рыбы узнают её по «походке». Потому-то щука и не любит «ходить».

Щука ждёт. Её никому не видно и не слышно, а она слышит каждый рыбий «шаг». Ей не нужны здоровые рыбки — пусть куролесят хоть у самого носа. Она ждёт, когда послышатся неверные «шаги» рыбки больной. Стоит рыбке «захромать» хоть на один плавничок — щука тут как тут! Как на «Скорой помощи» прикатит!

Но больных рыбок что-то не радуется такая помощь. Прикатит — и хап рыбку болезнь... вместе с рыбкой.

Жутко больным и слабым. Но за это рыбаки и прозвали щуку «санитаром».

А здоровые рыбки не очень-то боятся «санитара». Их ей нелегко поймать. Куролесят у самой волчьей пасти.

Им не страшен этот волк!

Рыбы пляски

До восхода висело над горизонтом лиловое облачко с огненным ободком. Солнце поднялось багровое, и всё — земля и небо — окрасилось в красный цвет. Сижу под ивовым кустом с узкими красными листьями.

Над головой свистят крыльями утки, и крылья у них розовые.

Необыкновенный рассвет!

Красные волны дробятся в красной реке. Алые клубы пара шевелятся над волной.

Чёрные чайки с криками мечутся в вышине, как чёрное воронье над заревом пожара. Будто обожжённые, они заламывают крылья и падают в горящую реку, выплёскивая снопы искр.

Всё ближе чайки, всё резче их крики.

И вдруг из красных волн стали выпрыгивать чёрные рыбки. Узкие, как листики ивы. Вылетят стоймя и стоймя же, хвостом вниз, падают в красную воду. Вот вылетел целый косячок и рассыпался веером. Вот опять: одна за одной, одна за одной!

Рыбьи пляски!

Гляжу во все глаза!

Неужто и рыбья кровь вспыхнула в это удивительное красное утро?

А посреди реки, в сутолоке волн, движутся два чёрных пятнышка: пятнышко поменьше и пятнышко побольше. Из воды торчит плоская головка да спина горбинкой. Выдра! Вот нырнула, будто растаяла, а из воды тотчас выметнулись рыбки и заплясали: вверх — вниз, вверх — вниз!

Чайки увидали — упали, заломив крылья. Стали хватать рыбок прямо на лету.



Всё сразу стало обыкновенным.

Солнце поднялось, и чёрные чайки стали белыми, чёрные рыбки — серебристыми, красная вода — серой. Лиловое облачко на горизонте шевельнулось и растаяло.

Хищники — чайки и выдра — вслед за пляшущими рыбками скрылись за поворотом реки.

А я лежал у коряги и записывал то, что видел. Начал писать на красном листочке, а кончил на золотом.

На лунной дорожке

Хорошо плыть ночью по лунной дорожке!

Справа и слева от тебя чёрная стена, а впереди дорожка золотая — прямо на луну! Плывёшь и бросаешь в темноту полные пригоршни лунного золота.

Если голову окунуть и посмотреть под воду, то и на дне увидишь светлую тропинку. Неясные тени движутся по ней: кто-то ходит по лунной тропе. Чьи-то извилистые следы — бороздки — пересекают её.

Я плыл и напряжённо вглядывался в диковинный извилистый след. Лунный свет, как блестящие чешуйки рыб, искрясь, оседал на дно. Дно слабо светилось.

В конце следа я увидел большую, похожую на гигантское семечко подсолнуха, чёрную раковину. Это она пробороzdила песок.

Раковина была старая, вся испещрённая тёмными годовыми полосками: сколько на раковине полосок, столько раковине и лет. Каждая полоска как морщинка.

Створки у раковины были приоткрыты, и в щель, словно сквозь чёрные губы, высунулся белый язык. Нет, раковина не дразнилась, она прислушивалась. Я-то знал, что в белом «языке» моллюска скрыт орган слуха. Но язык и не ухо. И даже не язык, а нога; с помощью его раковина передвигается. Ногой идёт, ногой и слушает!

Очень смешное животное: тело есть, нога есть, сердце есть, даже рот есть, а вот головы — нету! Учёные раньше так и называли их: «семейство безголовых».

Не очень-то хорошее название; мне по душе другое: жемчужницы. Так называют их рыбаки. За то, что внутри этих раковин часто находят настоящий жемчуг.

Речная жемчужина похожа на капельку ртути. Или на пузырёк воздуха:

вся она светится и переливается.

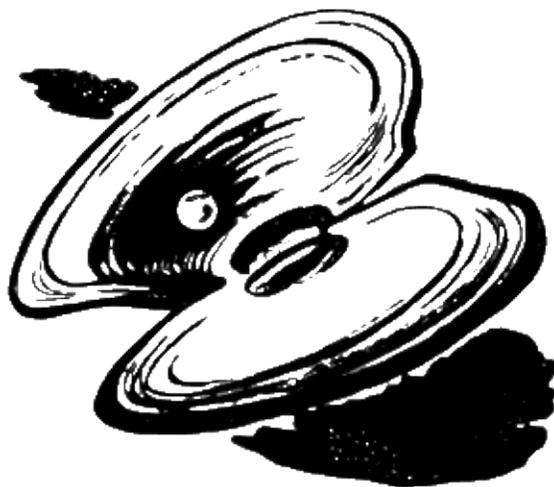
Рыбаки говорят, что в лунные ночи, когда жемчужница приоткрывает створки раковины, туда проникает капелька лунного света; из него-то и вырастает жемчуг.

Это так и не так.

Действительно, что-то проникает в раковину и, действительно, вокруг этого «чего-то» нарастает жемчужина. Но только это не капля лунного света, а... простая песчинка.

Ловцы нашего пресноводного жемчуга подсчитали, что только одна жемчужина приходится на целую тысячу раковин. Так что одну раковину мне не стоило и проверять.

Но мне повезло. Я проверил и сразу же нашёл крупную жемчужину. Смотрите какая она!



Пустота

Среди водорослевых гуц рои рыбьих мальков. Там, где в воде от берега тень, а мальков освещает солнце, они светятся.

Сквозь сияющее мальковое облачко солидно и не спеша проплывает окунь. Мальки почтительно расступаются. Так, наверное, самолёт пролетает сквозь стаю удивлённых ласточек.

Окунь вошёл в рой, и вокруг него мгновенно возникла пустота. Это особая пустота: пустота хищника, пустота страха. Даже окружённый множеством живых существ, хищник всегда висит в пустоте. Она обволакивает его со всех сторон, она движется вместе с ним, она неотступна, как тень.



Окунь идёт, а мальки раздвигаются перед ним и смыкаются позади. Поворачивает окунь — поворачивает пустота. Невидимая сила расталкивает рыбёшек и держит их за какой-то невидимой, но осязаемой чертой.

Прошёл окунь сквозь частый рой, а никого не задел. Перед ним расступились, его пропустили и занялись своим делом, будто ничего не случилось! Будто и не было тут никакого окуня. Опять все беспечно толкуются у солнечного луга, как снежинки вокруг фонаря.

Голубые столбы

Мох колыхался под ногами, как пружинный матрас. Видно было, как подо мхом кругами расходились волны. Раскачивались кривые и хилые сосенки.

Когда-то тут было озеро.

Оно и сейчас было тут, только сверху его затянуло мхом. Во мху там и тут дыры — «окна». И вода в этих окнах как чёрное стекло. Подойти к окну трудно: моховая дернина прогибается и тонет...

Я лёг на живот, растопырил широко руки и ноги — и пополз. Дополз до «окна», надел на лицо маску, вдохнул через трубку воздух и, как тюлень в прорубь, скользнул в окно вниз головой. День сразу сменился ночью. Я опускался в глубину, и светлое окно надо мной становилось всё меньше.

Вот и дно, вязкое и холодное. Я по пояс утонул в нём, а под ногами всё ещё была какая-то жидкая каша.

Высоко над головой — чёрный моховой потолок с голубыми дырами. В каждую дыру врывается свет и, как голубой столб, упирается в дно. И

кажется, что вся чёрная моховая крыша держится на этих голубых столбах.

На одном вдохе долго под водой не просидишь. Я рванулся вверх и угодил в соседнее окно. Это было даже не окно, а скорее форточка: только-только просунуть плечи и голову. Я протиснулся в неё, и лягушки, сидевшие вокруг форточки, в ужасе запрыгали в сторону от воды.

Жутко было торчать в моховой дыре, свесив ноги в чёрную глубину. Но уж очень заманчив был этот чёрный мир на голубых столбах, мир умирающего озера.

Я отдышался, опять нырнул и быстро поплыл к соседнему, самому большому окну.



Будто луч прожектора бил сверху. И в синем свете, как снежные хлопья, порхали блестящие рыбки. Я поплыл к голубому лучу и невольно протянул вперёд руку; казалось, луч можно было потрогать. И даже толкнуть его.

Но рука моя провалилась в луч и тоже стала синяя. И сейчас же по всему телу забегали мурашки. Это рыбки набросились на меня, как комары, и стали щипать кожу мягкими губами. Мелкие карасики, широкие, как бронзовые пяточки, щекотали мне бока и ноги, но мне совсем не смешно: ведь делали-то они это от голода!

Раньше, когда моховый потолок не закрывал небо, на воду падало много насекомых, а под воду проникало много света, солнца. На свету разрастались водоросли, среди водорослей поселялось много разных червячков и личинок. Рыбы были сыты и веселы.

Сейчас только редкие насекомые попадали в узкие «окна». И только

под окнами, где ещё проникал на дно свет, шевелились бледные тонкие водоросли.

Озеро умирало, и вместе с ним должны были умереть рыбы. Караси попали в ловушку. И выход остался один — «окна». Но караси не птицы, им, не вылететь через окно на свободу.

Вздохнув, я нырнул опять и поплыл к соседнему окну. Карасики потянулись за мной и всё хватали и щипали меня холодными жадными губами.

Под соседним окном ворочались в грязи два больших карася. Завидя меня, они подплыли к самому моему лицу и уставились круглыми золотыми глазами. Толстые губы их шевелились: рыбы не то что-то пережёвывали, не то что-то шептали.

Стало не по себе: всё казалось, что рыбы пытаются рассказать мне о своей страшной судьбе и, может, даже просят о помощи...

Но чем я мог им помочь? Мне не под силу соединить умирающее озеро с речкой или с другими озёрами.

Моховой потолок не взломаешь и окна не сделаешь шире.

Скоро толстые голубые столбы, на которых ещё держится этот тёмный мир, превратятся в тонкие-тонкие лучики.

И жизнь озера повиснет на этих голубых волосках.

Тогда придёт самое страшное: большие рыбы начнут поедать своих же детей.

Мне стало так жутко в глубине, что я скорей взглянул вверх, где светилось широкое светлое окно.

Посредине окна что-то шевелится. Я потихоньку поднимаюсь вверх. У самой моей маски вижу тёмное утиное брюшко и красные утиные лапки. Это дикая утка полощется в воде. Красные лапки машут, как два красных платочка: «До свиданья, до свиданья, до свиданья!»

«Ишь какая ты быстрая! — думаю. — Вот схвачу сейчас за лапу, и будет не до свиданья, а здравствуйте!»

Я протянул руку к утке и остановился: утиное брюшко и лапки были облеплены карасёвой икрой!

Вот где спасение!

Утка эта перелетит на другое озеро и в нём посеет карасёвую икру! Караси не исчезнут бесследно, как озеро. Они разведутся во всех соседних водоёмах. И спасёт их вот эта плосконосая утка!

Не стал я хватать утку за лапки. Я с шумом вынырнул рядом с ней; утка в ужасе крикнула, хлестнула по щекам жёсткими крыльями и унеслась.

И лучшего я ничего не мог придумать.



Подводный закат

Охотникам знаком тихий и мирный предзакатный час в лесу. Вокруг покой и тишина. Красный глаз солнца лучится сквозь колючую хвою елей. Сизая дымка заволакивает кусты. А вершины высоких берёз становятся похожими на золотые купола. И на самой высокой вершине нежится на закатном солнышке сорока. Снизу она как белая спичка с чёрной головкой.

Вокруг истома и лень.

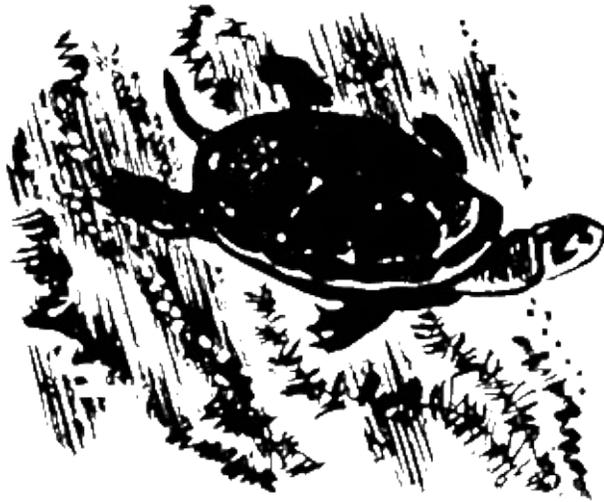
Есть такой час и под водой. Когда утихнет ветер и улягутся волны, подводное небо начнёт розоветь. В воде удивительная игра света: голубые лучи стрелами пронизывают толщу воды. Они такие чёткие и прямые, что кажется, стукни — и они зазвенят!

Не спеша всё становится оранжевым, а дно темнеет и опускается в глубину.

Весёлые подводные рощицы тоже становятся оранжевыми, будто их покрыла солнечная пыль или осел на них золотой иней.

Из сумрачных тёмных зарослей на солнечные подводные опушки выползают подремать и понежиться серо-зелёные щуки. Они похожи на пятнистых ящеров с жёлтыми ногами — коротышками. Они неподвижны, как затонувшие осклизлые палки.

Над золотыми рощицами проносятся быстрые стайки серебристых плотвиц. Красные глаза их посверкивают, как искры. Пронесутся и растают в сизой водяной дымке. Проплывёт водяная черепаха, покачиваясь с боку на бок.



А на растопыренную корягу, похожую на затонувший лосиный рог, лениво выползает усатый ночной рак...

По дну, по водорослям, по корягам, по рыбам струится тонкая солнечная рябь. Тишина и покой. Мирный подводный вечер. Ленивый закатный час...

Осень под водой

Вы купаетесь — раздеваетесь, а я купаюсь — одеваюсь. Надеваю тёплое бельё, тёплые брюки и тёплую куртку. На ноги натягиваю шерстяные носки, а на руки — шерстяные перчатки.

Поверх всего — резиновый костюм.

На лицо маску, на ноги ласты — и в воду.



Вы купаетесь летом, а я купаюсь и поздней осенью. Смотрю, какая осень под водой.

Холодно осенью в подводном лесу. Бешеный ветер гонит поверху злые волны. Жёлтые тростники клонятся над водой, будто заглядывают в глубину.

А в глубине всё в движении. Ёрзают по дну утонувшие листья. Покачиваются обомшелые тростники. Набухшие брёвна-топляки переваливаются с боку на бок, как поросята.

Над озером высокое синее небо. На берегах берёзки — горящие свечи. Чёрные строгие ели. Трепетные красные осинки. Золотая осень.

А в подводном лесу золотой осени не бывает. Осень под водой всегда хмурая. Стынет от воды лицо. Не шуршат листья, не посвистывает ветер. Вокруг пустынно и глухо.

Ветви водорослей поломались, поникли, обвисли. Всё поблёкло и покрылось густым слоем мути.

Не играют быстрые блестящие рыбки. Рыбы опустились в тёмную глубину. Лягушки сбились в кучу и зарылись в густой ил. Одни зеленоглазые щуки быстро уходят, поднимая хвостами муть. Длинные тонкие водоросли шевелятся, как ленивые сонные змеи...

Землю скоро укутает снег — наступит белая зима. А воду затянет лёд. И под водой настанет долгая ночь — чёрная зима. И на земле и под водой все с нетерпением будут ждать прихода зелёной весны.

Шёпот рыб

Когда первый раз заглянешь под воду, то хочется только смотреть и смотреть. Но оглядишься — и уже хочется вмешиваться в жизнь подводного мира: хочется рисовать, фотографировать, охотиться. Но больше всего хочется узнавать. К тебе подплывают рыбы, рты их открываются и закрываются, будто они что-то шепчут...

Чтобы приучить к себе рыб и понять их язык, я устроил под водой сад. Я опустил на дно ёлочки и укрепил их большими камнями. Расчистил песчаные аллейки и обсадил их деревьями-водорослями. Под водорослями разложил большие раковины.

Ночью я зажигал в саду фонарь, рыбы заворачивали ко мне на огонёк и танцевали, и порхали вокруг фонаря, как ночные бабочки.



На песчаной полянке я вбил кол и к колу прикрепил полочку. На полочку сыпал пареное зерно и крупу, клал червяков и кузнечиков. Это была кормовая полочка, совсем такая, как и для птиц. И, словно птицы, на полочку слетались яркие рыбы: окуньки, плотвички, уклейки. Начинались возня, суматоха, догонялки и отнималки. Точь-в-точь как у птиц! Только не слышно было птичьего чириканья и писка. И не потому, что чириканья и писка не было: крику было даже больше, чем у птиц. Но человеческое ухо так устроено, что не может слышать рыбьего голоса. Для этого нужно иметь особый, сложный прибор.

У меня не было такого прибора, и я не слышал, что говорят рыбы. Но, кроме хитрых приборов, есть на свете простой и верный способ услышать бессловесных животных. И не только услышать, но и понять, что они говорят. Для этого нужно их полюбить...

Мне очень понравились живые рыбы, и потому, наверное, я понял, что они хотели мне сказать.

Рыбы оказались большими хвастунишками! Они хвастали, что люди об их жизни знают совсем мало: куда меньше, чем о жизни зверюшек и

птиц. Что вот только теперь, когда даже ребята смогут пользоваться водолазной маской и наблюдать рыб под водой, они расскажут людям кое-что интересное.

Рыбы хвастались, что они спасают людей от комаров и малярии: ведь они так много поедают комариных личинок!

Рыбы говорили, что если они покинут озёра и реки, то ребятам придётся выбросить свои удочки. А озёра и реки станут пустынными и неинтересны, как леса, из которых улетели птицы.

Рыбы жаловались. Они жаловались на жадных рыбаков, которые вылавливали их сетью с мелкой ячейкой. В такой сети запутываются даже мальки, не успевшие пожить и нагулять рыбьего жирку. Они жаловались на бесхозяйственных людей, которые сваливают в озёра и реки всякий хлам и спускают туда загрязнённую воду. От этого гибнут все рыбы: старые и малые.

Щуки и форели жаловались на охотников, которые стреляют в них из ружей во время нереста.

Рыбы просили ребят расчищать стоки в озёрах, а то от застоя в них начинает портиться вода. Жители мелких озёр очень просили пробивать зимой лунки во льду — чтобы не задохнуться.

И за всё это рыбы обещали — все в один голос! — не покидать водоёмов и веселее клевать летом на ребячьи удочки. Даже если приманка на крючке будет невкусная, а поплавок будет такой огромный, что его и под воду-то нелегко окунуть.

Это уже известно: там, где рыба хорошо живёт, — всегда веселее клёв! Вот сколько дел тем, кто захочет не только рыб ловить, но и помочь им.

Рыболов и поплавок

Говорят, что рыболовы заядлые молчуны. Целый день могут просидеть и рта не открыть.

Нет, рыболов не молчун.

Рыболов любит поговорить. Только разговаривает он по-особому — глазами. И потому рот ему открывать ни к чему.

А разговаривает рыболов с поплавком.

Лениво течёт река, лениво плывут в реке облака. Рыболов лениво переговаривается с поплавком.



Вот завозился поплавок на воде, — наверное, что-то под собой увидел. Даже окунулся слегка, чтоб лучше разглядеть.

«Что там?» — спрашивает глазами рыбак. И тянется к удилицу.

Поплавок радостно прыгает, разгоняя круги.

Отвечает неслышно:

«Сиди себе: поспешишь — людей насмешишь. Это мелкота щиплет наживку!»

Но вдруг поплавок насторожился и медленно потянулся вбок, волоча за собой водяной усик.

«Будь готов!» — подмигнул рыбаку.

— Всегда готов! — прошептал рыбак.

«Тяни!» — подскочил поплавок и нырнул в глубину.

— Тяну! — сверкнул глазами рыбак.

Взвилась в воздух леса, вылетел из воды поплавок, а за поплавком — краснопёрая рыба.

«Ну вот и обрыбился! — сказал про себя рыболов. — Есть почин!»
А поплавок молчит как рыба. Красные щёки его блестят от важности.
Он жаждет снова в воду, на берегу он теряет дар речи.
Долго-долго тянется летний день. Разговаривает рыболов с поплавком,
и нет конца их молчаливому разговору.
Длинный день для них — счастливый короткий миг. Водой друзей не
разольёшь. Как всем влюблённым, не нужны им слова. Что слова!
Им всё понятно без слов.

Кружит

В темноте всегда прячется страх. Некоторые уверяют, что им неведом страх темноты. Я им не верю.

Страх темноты — это особый страх.

Что страшного в темноте? Ум говорит: ничего. Что было при свете, то осталось и в темноте. Но почему-то только в темноте так насторожено ухо, так расширены зрачки и дыхание порывистое и неровное. И уж так повелось, что именно темноту человек населяет всем тем, чего боится больше всего на свете. Страх темноты будет жить до тех пор, пока люди совсем не перестанут бояться чего-либо. А это будет ещё не скоро.

Я стою по колена в воде, и вода, как ласковая собака, лижет тёплым языком мои голые ноги.

Вокруг непроглядная тьма. Только ухом я различаю что где. За спиной чуть шепчет чёрный лес, впереди чуть плещет чёрная вода, а над головой — безмолвное чёрное небо.



На ощупь надеваю на лицо резиновую маску и натягиваю на ноги ласты.

Мне всё знакомо в этом лесном озере: каждая затонувшая коряга, каждая глубокая яма, все подводные водорослевые рощицы. Даже многих рыб я знаю в «лицо»: одноглазого окуня, безгубого леща и щуку с белой ссадиной на боку. Нет в озере ничего такого, чего бы я не мог одолеть. Но почему я так долго — бесконечно долго! — стою неподвижно по колена в воде и тёплые собачьи языки волн терпеливо лижут мне ноги?

Но вот вода уже выше пояса. Мышцы на животе нервно поджимаются.

Я вытягиваю в темноту руки, ложусь на воду и, оттолкнувшись ластами, опускаю лицо вниз. И будто повис я в темноте между землёй и небом!

Хорошо в светлую лунную ночь плыть прямо по зыбкой лунной дорожке. Удивительно очарование света! Кажется, что ты не плывёшь, а поднимаешься по золотым ступеням всё выше и выше — прямо к луне. И что из того, что страшно, темно и непонятно, — дорога твоя ясна. И даже под водой, по тёмному дну, видна дорожка луны. Придонные жители тянутся к ней. Смело плыви и смело бросай в ночь полные пригоршни лунного света.

Но сейчас непроглядная ночь. Я сосу воздух из трубки, лениво шевелю ластами и плыву туда, куда гонят меня волны и ветер. Не всё ли равно, куда плыть? Я думаю только о том, что я буду делать, если вдруг у самой маски высунется из воды зализанная сомовья голова с чёрной пастью жабы и с белыми глазами утопленника. Или вдруг уж, как мокрая верёвка, опояшет голое тело?

Кричать ведь нельзя — захлебнусь. Придётся схватить гада руками, сдавить его и чувствовать, как пульсирует в руках упругое холодное тело, как неудержимо оно, как выскальзывает из рук, подобно ртути.

Сквозь шёпот волн пробился незнакомый звук. Что-то мелко дребезжало, как большая стрекоза, схваченная за крыло. И волны как-то странно чмокали и хлюпали. Я вытянул руки вперёд и наткнулся на жёсткие тростниковые стебли. Берег!

Наваливаюсь на берег всем телом и вдруг чувствую, что берег начинает тонуть! Он колышется подо мной, как пружинный матрас, и опускается в глубину. Это не берег, это сплавина!

Сплавина — плавучий островок, зыбкий и ненадёжный. Сложен он из разного хлама: поломанных стеблей тростника и камыша, вырванной с корнем осоки и хвоща. Из всего того, что всплыло только потому, что оторвалось от земли, и только потому не тонет, что переплелось, сбилось в кучу и оперлось друг о друга.

Сплавину заселили мягкие лягушки и скользкие ужи. Днём я не раз подныривал под эту сплавину и всматривался снизу в переплетения бурых корней. Под корнями всегда стояли в засаде большие желтоглазые окуни. В дыры и щели сплавины проникали тонкие синие лучики. Лучики тонули в глубине; между ними взблёскивали серебристые рыбы. Это был целый мирок. Мне всегда казалось, что волны озера качают сплавину с каким-то тайным смыслом.

Душно от запаха прели и болотного газа, сквозь скрюченные пальцы холодными слизнями выползает густая грязь. Над головой бьётся и

попискивает ветерок, запутавшийся в тростниковых метёлках. Надо скорей к твёрдому берегу, только где он, твёрдый-то берег?

Опускаю лицо в чёрную воду. Ласты работают веселей: ведь что-то решить — это уже хорошо!

Я ничего не вижу. А рыбы, говорят, видят и в темноте. У рыб большие, круглые, немигающие глаза. Они сейчас видят меня. Может, они подходят ко мне совсем близко и разглядывают, лениво жуя белыми губами...

Рыбаки говорят, что по ночам из глубины поднимаются самые большие хищные рыбы. Это очень может быть; ведь и на земле хищники любят ночь.

Ласты мои всё быстрее и быстрее пенят воду. Пора бы быть и берегу.

Слышу впереди дребезжание листа и чмокание волн. Нет, это не берег, это опять та самая сплавина! Под ладонями гнилые стебли, между пальцев холодная грязь.

Берег, кажется, там...

Плыву опять. Вода уже не лижет тело тёплыми языками, вода остывает. Кожа становится жёсткой и пупыристой. Грудь стиснута, и дышать тяжело. Я начинаю бояться самого себя: плеска своих ласт, хрипа своего горла, касания своих рук.

Вот опять чмокание волн. Как муха в паутине, жужжит ветерок в тростниковых метёлках. Сплавина...

Глазам становится жарко, в темноте завихрились зелёные искры. Кружит!

Крикнуть? Но кто услышит тебя на лесном берегу? Меня сейчас страшит даже собственный голос: замечется он, неприкаянный и дикий, по тростниковым хлюпям, спугнёт хриплое эхо и завязнет где-нибудь в трясине.

Опять подводная чернота, опять холодные пальцы волн щекочут спину. Зловеще хихикает дыхательная трубка.

«Кружит! — испуганно думаю я. — Кружит!»

И больше уже ни о чём не могу думать.

«Кружит!»

Вот в таком состоянии люди теряют голову и начинают делать глупости. Это-то я ещё понимаю. Может, лучше стиснуть зубы, перестать шевелить руками и ногами — пусть несёт по воле ветра и волн?

Но я шевелю и руками и ногами и... опять натываюсь на проклятую сплавину! Я не могу уйти от неё, она тянет меня как магнит!

Я начинаю замерзать. В голову лезут рассказы амазонских индейцев о водяном удаве-анаконде. Когда на охотника из зарослей смотрит анаконда,

страшная тоска вдруг нападает на него. В отчаянии мечется охотник по берегу, места себе не находит, всё ближе и ближе приближается к затаившемуся чудовищу...

Вот и я, в тоске и отчаянии, полузамёрзший, почти безвольный, всё вновь и вновь возвращаюсь к страшной сплавине, и нет у меня сил уплыть от неё! Может, водяной упырь затаился в подводных космах и водит за мной своими совиными глазами?

Пришло самое страшное — «всё равно». Покорно и безвольно, как сонная рыба, я поплыл в темноту — прямо на чмокающие волны. Я уже слышу жалобный писк ветерка, и мне чудится хихиканье водяного упыря, но мне всё равно.

И тут вдруг у самых моих глаз поднялись и шевельнулись неясные блики, похожие на встопорщенные чешуи огромной рыбыны! Я сорвал маску с лица. Волны, я видел волны! Значит, скоро рассвет, скоро уйдёт тьма, и я увижу берег!

Я по пояс вымахнул из воды. Я увидел небо — оно стало чуть зелёным. Но это «чуть» решило главное: впереди я увидел берег! Теперь я знал, куда мне плыть. Я не спускаю глаз с чёрной стены леса впереди. Всё светлее рябь у глаз, всё ближе надвигается молчаливый лес. И вот под руками уже не зыбкая хлюпь, а упругий песок. Я с трудом поднимаюсь на ноги и, шатаясь, шлёпаю по песку лягушечьими лапами. С зелёного тела зелёными струями сползает вода.

Вот и мой шалаш. Раздуваю костёр и, привалясь к дереву, греюсь, греюсь и греюсь.



Как всё просто теперь, когда всё позади! Кружит? Ну и что же? Кружат в лесу грибники и ягодники; бывает, что и опытные охотники кружат. Кружит на бегу заяц, кружат в тумане птицы. Не мудрено кружить, когда нет вех на пути.

Вон та сплавина. Здорово я пугал там ночью ужей и лягушек! Вот натерпелись, бедные, страху!

Мне тепло и смешно.

Зелёное небо, зелёное озеро, зелёный туман. Скоро поднимется солнце, и ночные тени уползут в чащу. И вместе с тенями спрячется ночной страх. Спрячется до следующей ночи.



Послесловие

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ СЛАДКОВ родился 5 января 1920 года в семье рабочего-металлиста.

К началу войны он успел окончить лишь первый курс Гидрографического института Севморпути и ушёл на фронт, где всю войну пробыл в моторизованном топографическом отряде. Имеет семь правительственных наград.

По окончании войны, оставаясь до 1958 года военнослужащим, каждую свободную минуту Сладков обращается к изучению природы.

«Природа волновала и влекла меня всю жизнь, — говорит он, — её красота, тайны, обаяние, удивительная стройность и слаженность, неисчерпаемость познания поражали воображение и влекли сердце. Поэтому все книжки мои о ней. Никто меня специально не „вводил“ в природу, никто не „приучал“ и „не открывал глаза“. Я родился уже готовым её поклонником. Книги только объяснили мне то, чего я ещё не знал. А Виталий Валентинович Бианки — мой старший товарищ — научил разбираться в писательской технике. Я его легко понимал, души наши были родственными».

Первые рассказы писателя напечатаны в альманахе «Молодой Ленинград» в 1952 году. В 1953 году вышла первая книга. Теперь их около тридцати, общим тиражом свыше 7 000 000 экземпляров.

Вот что рассказывает Николай Иванович о своей писательской работе:

«Мои книги — это плоды моих увлечений.

Увлечение подводным миром породило книжку „Подводная газета“. Для этого пришлось опускаться на дно рек и озёр центральной полосы, высокогорных озёр, морей — Белого, Чёрного, Каспийского, Аральского, Азовского. Увлечение пещерами дало книжку „Под каменным небом“. Увлечение фотоохотой — „Смелый фотоохотник“ и „Под шапкой-невидимкой“. Увлечение пустынями — книгу „Земля солнечного огня“. Шестнадцать лет я проработал в горах Кавказа и Закавказья, Ирана, Памира, Тянь-Шаня, Крыма, Урала — книгу

об удивительном мире гор считаю ближайшей будущей книгой...»

У Сладкова много увлекательных дорог, однако эти дороги не только увлекательны, но ещё и трудны; чтобы идти по ним, надо быть смелым человеком. Николай Иванович — человек смелый. Стремясь раскрыть тайны природы, он карабкался по скользким сыпучим скалам, продирался через буреломы, спускался в заброшенные колодцы пустынь. А когда лёд покрывал озёра и реки — опускался в лёгком самодельном костюме водолаза в проруби и смотрел, «где раки зимуют»?

На встречу один на один с медведем, волком, рысью, отважится далеко не каждый, даже вооружённый. А Сладков подтаивался к хищникам, ядовитым змеям с одним фотоаппаратом в руках. Любовь к зверю заставляла его быть спокойным в самых опасных ситуациях. Это начинаешь понимать из рассказов: «В кяризе», «Лесные сигналы», «Сторожевые колокольчики».

Часто автор берётся за перо не только из желания познакомить читателей с малоизвестными явлениями в природе. Ему хочется показать, что жизнь во всех её формах — самое удивительное явление, что её надо беречь и уважать.

«Чтобы беречь землю, природу, надо её полюбить, чтобы полюбить, надо узнать. Узнав — невозможно не полюбить. В этом считаю смысл своей работы».

Книжки Сладкова не только и не столько познавательные, сколько «показывающие» эстетическое воздействие природы на душу человека.

Есть просто науки — география, зоология, — Николай Иванович создаёт свою поэтическую географию, поэтическую зоологию. Животное для него не только объект охоты и даже не только модель для машины. Это ещё и живое существо, человеку очень близкое, порождённое общей матерью — природой. Пристальное внимание к меньшим братьям нашим — основа его творчества.

Но главное действующее лицо в произведениях Сладкова — человек, его ощущения, его мысли, его действия.

Об увиденном и услышанном писатель рассказывает не только в книгах, но и в радиопередачах, и с экрана телевизора.

Широко известен радиослушателям цикл передач, начатый ещё Виталием Валентиновичем Бианки, под названием «Вести из леса». Не

менее знакомы телезрителям передачи «Солнцеворот».

Н. Страшкова

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке BooksCafe.Net](#)

[Оставить отзыв о книге](#)

[Все книги автора](#)

notes

Примечания

1

Чикалка — шакал (областное слово).

Желна — чёрный дятел.